

A detailed oil painting of a woman, likely Roxolana, wearing an ornate golden crown with red and white jewels. She has dark hair and is looking slightly to the left. She wears a dark red dress with a white ruffled collar and a gold belt. The background is dark and indistinct.

ПАВЛО
ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ

Роксолана

ПОЛНАЯ
ВЕРСИЯ
ЛЕГЕНДАРНОЙ
КНИГИ

Павел Загребельный

**Роксолана. Полная
версия легендарной книги**

«Алгоритм»

Загребельный П. А.

Роксолана. Полная версия легендарной книги /
П. А. Загребельный — «Алгоритм»,

Книга повествует об удивительной судьбе славянской девушки, украденной в XVI веке и проданной на стамбульском невольничьем рынке в рабство. Обладая блестящим умом, необыкновенной силой воли и привлекательной внешностью, она из бесправной рабыни стала женой султана Сулеймана Великолепного (Завоевателя) – самого могущественного султана Османской империи. Овладев вершинами восточной и европейской культуры, эта знаменитая женщина вошла в историю и играла значительную роль в политической жизни своего времени. Знаменитый роман о Роксолане и Сулеймане, чья любовь стала основой культового сериала «Великолепный век»! Полная версия о роковой страсти, оставшейся в веках!

© Загребельный П. А.

© Алгоритм

Содержание

Море	6
Ибрагим	10
Рогатин	22
Отара	29
Валиде	33
Книга	46
Сулейман	47
Махидевран	51
Хуррем	55
Колонна	65
Река	69
Хамам	79
Лестница	86
Аистенок	89
Колодец	93
Остров	104
Конец ознакомительного фрагмента.	113

Павло Загребельный
Роксолана: полная версия
легендарной книги

© Загребельный П., 2015

© ООО «ТД Алгоритм», 2015

Море

Не вздымалась злосупротивная волна навстречу турецкой кадриге¹, море было тихое, ветер начинался ежедневно после захода солнца, дул всю ночь с берега, но вода от него лишь слегка морщижилась, к утру же залегала мертвая тишина на воде и в воздухе, и только после полудня задувал с моря свежий ветерок, поворачивал за солнцем, точно гонясь за ним, и умирал к вечеру вместе с солнцем.

Так и состязались здесь извека два ветра – один с суши, другой с моря – и летели над водами дальше, дальше, в беспредельность.

Кадрига кралась вдоль берега, не решаясь выйти на широкий простор этого переполненного водами исполинских славянских рек моря, непроглядного в глубинах, таинственно-неприступного, черного, как шайтан, Кара Дениз...

Три паруса – один красный, два зеленых – едва надувались, кадригу гнали вперед своими веслами галерники, на двадцати шести лавках по четыре гребца, голые до пояса, бритоголовые, в кандалах, прикованные к толстой цепи, змеившейся по дну кадриги. Ни выпрямиться, ни места переменить, спали и ели посменно на своих лавках, волны били в них, солнце жгло, ветер рвал тело, пот заливал глаза, а вдоль помоста, проложенного над галерниками, бегал с канчуком евнух-потурнак – ключник, похожий на старого вола, евнух, наделенный силой тоже чуть ли не воловьей, в высокой чалме, в расхристанном шелковом халате, тряс жирной грудью, кричал до пены на губах, подгоняя гребцов, а они и сами с каждым взмахом весел, словно бросая в проклятую воду не только весла, но и всю свою силу, выдыхали из себя дико, с ненавистью: «Г-гик! Р-рык! Г-гик! Р-рык!»

Хоча й би синєє море розіграло,
Хоча й би турецький корабель розірвало...

На демене-корме – натянут от солнца и непогоды навес из полосатого белого с синим – египетского полотна. Старый Синам-ага, страдая от хворей, устало поглядывает на шестерых, прикованных друг к другу, красивых молодых чернооких женщин в железных ошейниках. Кто может измерить всю глубину отчаяния старого Синам-аги, который был вынужден заковать в жестокое железо эти молодые тела, полные отчаянья еще большего! Все они похищены и пленены, а две из них еще и оторваны от грудных младенцев, все проданы на невольничьем торге в Кафе, почти нагими брошены на кадригу (пусть свежий ветер Кара Дениза золотит их молодые влекущие тела), скованы железом, чтобы спасти их от отчаянья и от нечестивых попыток найти себе смерть в волнах. Кадрига крадется вдоль берега, пробивается все дальше и дальше на юг, к благословенным землям Анатолии, к Босфору, к священному Стамбулу, где этих молодых чужестранок уже ждут в гаремах. Сказано у поэта: «Бери чаще новую жену, чтобы для тебя всегда длилась весна. Старый календарь не годится для нового года». И старые глаза Синам-аги, утомленные суетой и несовершенством мира, отдыхают на гибких белых телах полонянок. И хоть не подобает правоверному созерцать греховную женскую наготу, так пусть хоть глаза старого Синам-аги утешаются в пути созерцанием славянских рабынь, коли уж тело немощно. Ибо сказано: «Аллах хочет облегчить вам; ведь сотворен человек слабым». Да и что ему, старому Синам-аге, эти шесть пленниц? Может, он и взял их на кадригу разве что для отдохновения очей своих? Вез же в Стамбул, на знаменитый Бедестан, где продаются самые дорогие под лунной рабы, молодую белотелую девчушку с волосами червонного золота, отливающими

¹ Кадрига – галера.

огнем потусторонним, пятнадцатилетнюю, дерзкую, непокорную и – о всемогущество Аллаха единого и милосердного! – смешливую и беззаботную!

Девчушка не закована в железо, не прикована ни к кадриге, ни к несчастным своим подругам, не светит она нагим телом, а укутана заботливо в шелка, чтобы тело ее не утратило нежности; жилистый евнух-суданец, посвященный в непостижимое искусство древнего Мисра², натирает девчушку какими-то благовониями, расчесывает ее золотые волосы, а она то шаловливо подставляет себя под это чужеземное лелеянье, то увертывается и летит к борту кадриги так, словно собирается утопиться, и Синам-ага, от ярости меняясь в лице, топает ногами, пронзительно кричит на евнуха, призывая на него страшнейшие кары земные и небесные за недосмотр, а девчушка подпрыгивает-вытанцовывает у самого борта, еще пуще изводя старого агу, да еще и припевает:

Нехай шуки їдять руки,
А плотиці – біле лице,
Нехай нелюб не любує,
Біле лице не цілує,
Нехай пісок очі точить,
Нехай нелюб не волочить...

– Настася! Не бери души! – стонут полонянки.

Тогда златовласая девчушка заводит такую тоскливую, что и Синам-ага, даже не понимая языка, опускает голову на тонкой морщинистой шее и тяжело задумывается о своих прегрешениях перед Аллахом:

Ой, повій, вітроньку, да з-під ночі,
Да розкуй мої да руки-ніженьки,
Ой, повій, вітроньку, з-під темної ночі,
Да на мої ж да на карії очі...

Горы подступают к самому морю, настороженно высаятся над водой. Море заглядывает в темные ущелья, в широкие устья рек и ручьев, в чащи и леса на склонах. Потом долго тянется вдоль берега плоская равнина, образованная тысячелетними выносами мутных рек, на которых древние греки искали когда-то золотое руно.

Тяжелый путь кадриги упирается в суровые горы Анатолии, вздымающиеся высоко под небесами за полосой круглых холмов, песчаных кос и пастбищ. На узких полосках земли пасутся кони, растут какие-то злаки, затем горы подступают к самому морю, острые, скалистые, мертвые, а за ними беспредельный снежный хребет, холодный, как безнадежность; холодом смерти веет от тех снегов, ледяные вихри зарождаются в поднебесье, падают на теплое море, черный дым туч клубится меж горами и водой, алчно тянется к солнцу, солнце испуганно убегаёт от него дальше и дальше, и на море начинает твориться нечто невообразимое.

Точно змей из страшной детской сказки родился где-то над горным горизонтом, сотканный из призрачного желтого света, припал к поверхности моря, потом круто взмыл в небо, полетел выше, еще выше, закрыл шаровидной головой полнеба и стал лакать из моря свет, жадно и торопливо прогоняя его по своему длиннющему телу в ту шаровидную голову. Бесконечное змеиное тело билось в судорогах от притока света, голова кроваво кипела огнем, а море темнело, темнело, чернота надвигалась на него отовсюду, тяжелая и плотная, только изредка

² Миср – арабское название Египта.

пробивалась несмелым взблеском голубовато-зеленая волна и умирала посреди сплошной черноты, и море становилось как черная кровь.

В тот короткий промежуток времени, наступивший между появлением тревожного мрака и неминуемой бурей, испуг охватил Синам-агу и его прислужников, затрепетали от страха скованные железом пленницы, только галерники выкрикивали после каждого взмаха весел еще более дико и словно бы даже обрадованно, да златовласая пятнадцатилетняя Настася дерзко осмотрелась вокруг и, наверное, впервые за все время плаванья подумала, что, может, и в самом деле броситься бы сейчас с кадриги и утонуть навеки! Потому что, пожалуй, человеку иной раз лучше утонуть, чем мучиться... Если бы она знала, что лучше! Да если бы еще знала, что воды примут ее тело и успокоятся. И успокоятся ли? И выплеснут ли хоть каплю той печали, которая заполняет это море до самых высоких его берегов?

А уже падала на них буря, такая страшная, что море содрогнулось до своих глубочайших глубин, вздыбило свои воды, взревело и загремело.

«И ты увидишь, – бормотал Синам-ага, – что горы, которые ты считал неподвижными, – вот они идут, как идет облако...»

Паруса на кадриге уже давно были сорваны, теперь невольники рубили мачты, и они, падая, раздавили тех, кто, удерживаемый железной цепью, не мог спастись.

Исчезло все, умерло навеки, убитое каменной силой вознесшихся до небес водяных гор, сатанинским ветром, ошалелостью всего мира, лишь какое-то подобие жалобного стенания, превозмогая рев, свист и громы стихий, тонкой нитью неожиданно провисло над несчастными душами, может, и рожаемое теми душами, стенание, услышанное сначала одной лишь пятнадцатилетней Настасей, потом ее изгоревавшимися подругами, потом галерниками, потурнаками-евнухами и даже самим Синам-агой, потому что все они, в конце концов, были людьми, хотя и не одинаково милосердными и не одинаковых достоинств, и уже когда должны были погибнуть все, когда кадригу не могли спасти ни железнорукие гребцы, ни молитвы Синам-аги, ни неистовство потурнака-ключника, ни слезы полонянок, ни отвага златовласой девчушки, ни сам Аллах, донеслось откуда-то это тонкое стенание, этот жалобный плач-стон, – родившись в душе Настасиной, он стал слышен всем людям и стихиям, подхватил кадригу, повел за собой, повел, и провел сквозь стихию, сквозь смерть и гибель, и вывел туда, где еще светило солнце, зависая над вечерним горизонтом, где море хотя и билось еще отчаянно, но уже не крушило всего на себе, где была жизнь, хотя и горькая для пленниц, но жизнь, ох, жизнь, и уже не стон-плач был в душе златовласой девчушки, а напев, тонкий и высокий, сияющий, как золотая нить, и светился тот напев, как молодая девичья душа, и хотелось кричать, смеяться и плакать, заламывать руки от неудержимой радости и отчаянья за только что перенесенное: «Жить, хочу жить!»

Синам-ага бормотал из Корана: «И восток, и запад Аллаху принадлежат». Кадрига шла всю ночь вдоль темных берегов, утреннее солнце высветило глубокие морщины в древнем теле гор, за скалистыми островками море как бы проваливалось, каменные горы простлали до самой воды округлые зеленые холмы, судно очутилось между теми холмами. Синам-ага и его прислужники радостно закричали: «Богазичи! Богазичи!»³, а с широкого моря, точно радуясь спасению людей, весело погнался за галерой целый табун добрых удивительных созданий; они охватили кадригу полукругом, выпрыгивали из волн, темноспинные, белобрюхие, могучие и красивые, ловко прошивали глубину, точно живые веретена, приближались к кадриге в радостных всплесках, в веселой игре, и словно бы даже пение доносилось от них, словно бы даже человеческое что-то или от глубинных высших сил живых. Девчушка златовласая бросалась к бортам, то к правому, то к левому, захлопала в ладоши, прокричала что-то тем удивительным добрым созданиям, запела им, суданец-евнух, для которого дельфины не были в дико-

³ *Богазичи* – Босфор.

винку, слегка озадаченно взглянул на Синам-агу, а тот, как-то горестно вздохнув, протянул руку, показывая, чтобы евнух подал ему длинное бронзовое ружье.

Выстрел прогремел с такой силой, что казалось, уже один его звук должен был сбросить белотелую девчушку в море, но девчушка в ярких чужих шелках угрожающе нависала над самым бортом, падая и не падая в босфорскую волну, зато в табуне добрых дельфинов один, пораженный, может, в самое сердце, исчез в глубине, его товарищи ринулись за ним, чтобы спасти, но, бессильные помочь ему, вновь вынырнули и отдалялись от кадриги так же быстро, как незадолго перед этим приближались к ней, а тот, сраженный, убитый и еще не добитый, внезапно всплыл почти у самой кормы, блеснул в прозрачной воде белизной, тяжело перевалился темной спиной через буруны; умирающее животное так и льнуло к деревянному телу кадриги, и гребцы занесли весла, держали их на весу, не опуская в воду, чтобы не задеть дельфина, за которым, точно красное руно, тянулась багровая полоса крови. Дельфин не поспевал за волнообразным движением воды, высовывал спину, поднимал в муке голову, и тогда становилось видно, что есть в нем что-то от человека. Умирал как человек. Беспомощно, мучительно, тяжело. Еще раз блеснул брюхом, перевернулся, навеки исчез в темной глубине и точно звал с собой и к себе всех, кому на поверхности, под солнцем и небом, было тяжело, невыносимо и безнадежно, звал и тех галерников с обритыми головами и почерневшими, как кора на старых деревьях, телами, и женщин-полонянок, и ту пятнадцатилетнюю золотоволосую девчушку, которую Синам-ага в чаянии высокой прибыли готовил к жизни сладкой и роскошной, – но для кого же, для кого? «Не хочу! Не хочу!» – кричало все в ней, а она подавляла тот крик, загоняла его в глубь души, полными слез глазами смотрела уже и не на глубины моря, в которых навеки исчезло доброе морское существо, а на высокие зеленые берега, на птиц, вольно реявших над кадригой, на белые камни суровой крепости, опоясывающей узкий пролив, на толстые железные цепи, которыми запирались турецкие воды, отгораживаясь от свободного морского мира. Гребцы неохотно и не спеша опускали длиннющие, тяжелые, как камни, весла в воду, но кадрига плыла уже и без весел, свободно и охотно, все убыстряя бег, словно бы радовалась своему вновь обретенному умению чувствовать родной берег, возвращаться в родной город, в свой дом. А она? На что она тут, так далеко от родного дома, на что, на что, Настася, Настася? Спрашивала сама себя, называя себя так, как называли ее мама, татусь, а слышалось другое: на что, на что? Спрашивало чужое небо, спрашивали чужие деревья, спрашивали чужие птицы, спрашивали чужие воды, – все вокруг наполнилось коротким и безнадежным: «На что? На что, Настася, Настася?»

В последний раз слышала свое имя здесь, над морем, ибо должно было оно утонуть в море навсегда, навеки.

...И названо было море Черным.

Ибрагим

Зеркала были как вода. С блеском глубинным и загадочным. Ибрагим любил зеркала и свое отражение в них. Как в детстве. Тогда он смотрелся в воду. Вода окружала остров Паргу. Маленький Георгис каждый день бегал на берег – встречал отца-рыбака с моря. Глядел на воду, видел свое отражение. Небольшого роста, ладный, остроглазый. Слишком бледнолицый для искони смуглых островитян. Перенял от них бойкость и подвижность.

А бледность, возможно, зародилась как раз оттого, что он пристально всматривался в воду. Но это его не очень занимало. Посвистывал себе и напевал, прыгая то на одной, то на другой ноге. Охотно свистел на свистульках, играл на самодельных дудочках. У соседских дочек была старенькая цитра – вскоре Георгис брэнчал и на цитре. Отец пропадал в море или заливался вином по самые глаза. Сын? Кроме старшего растут еще два. Вырастут помощники. Способности? Это слово было ему неизвестно. Мать приобрела у торговца, скупавшего губки по всему побережью, небольшую виолу. Приплывая на Паргу, торговец показывал маленькому Георгису, как играть ту или иную мелодию. Не для усвоения, а чтобы посмеяться над рыбацким сыном. Когда же он приплывал через месяц, мальчик уже играл услышанное лишь однажды. Как будто на острове у него был учитель. Ибрагим ходил на берег, дожидался отца, играл и играл. Для морских волн, для безмолвных камней, для высокого неба. Часто засыпал с виолой в руках, спал под палящим солнцем, на горячих камнях, но лицо его оставалось белым. Жизнь легка и заманчива! Даже когда приходилось помогать отцу, думал так же, поскольку помогал лишь относить губки тому странствующему торговцу. Не было тогда видно ни отца, ни сына. Двигутся две округлые кучи губок, а под ними мелькают две пары ног. Коричневые, жилистые, потрескавшиеся, все в ссадинах и шрамах – отца. И стройные, тонкие, как у козлика, – сына. Грек большой и грек маленький. Большой так и остался греком. Где-то ловит рыбу, достает губки с морского дна, высушивает, продает заезжим торговцам и пропивает все заработанное. Пьет неразбавленное кислое вино, как дикий фракиец. А маленький вырос и уже давно не грек, а Ибрагим-эфенди. Он красив, умен, богат и почти так же всемогущ, как и султан Сулейман. Говорить об этом излишне. В Стамбуле болтают лишь глупцы. Настоящие люди умеют молчать. Делают свое без шума. Человека вообще не слышат и не знают. Особенно же в таком городе, где говорит только история. Единственный способ, чтобы тебя заметили, – бить в глаза: уметь жить, наряжаться, показывать, кто ты есть. Ибрагим не был ни пашой, ни санджакбегом, ни бейлербегом⁴, ни визирем, но могущество его не имело границ. «Душа султана, его сердце и дух» – так прозвали Ибрагима. С Сулейманом прожил десять лет в Манисе, где султан Селим держал своего единственного сына, наследника трона, лишь изредка позволяя ему побыть своим наместником в Стамбуле, когда сам отправлялся в далекие и трудные походы, как это было шесть лет назад, во время покорения Египта. Султан Селим не любил сына, не любил он и свою жену Хафсу, дочь крымского хана, держал обоих в отдалении, равнодушен был к обычным утехам, в гарем заглядывал изредка, да и то лишь затем, чтобы войско не сомневалось в его мужских достоинствах, любил только войну, охоту, верных своих янычар. Про Ибрагима Селим знал, как знал обо всем в своей беспредельной империи. Возненавидел вертлявого грека. Возненавидел и сына за то, что тот сделал своим любимцем не воина, а какого-то вертопраха. Особенно не любил пышность в одежде, к которой Ибрагим приохотил шах-заде Сулеймана. И поэтому показалось странным, когда султан прислал Сулейману из Эдирне, куда отправился на большую охоту в начале рамадана⁵, дорогую сорочку из тонкого

⁴ Бейлербег – титул пашей и наместников (турецк.).

⁵ Рамадан (рамазан) – 9-й месяц мусульманского лунного года хиджры. Согласно догадкам, в этом месяце был «ниспослан» на землю Коран. В рамадан мусульмане должны были соблюдать пост (уразу).

шелка. Валиде Хафса не дала сыну надеть ее. Позвала одного из балтаджиев, который когда-то повел себя с нею неучтиво, сказала, что прощает его и в знак прощения дарит ему дорогую сорочку. Такая сорочка приличествовала бы и самому султану. Балтаджи надел ее и в тот же день скончался в страшных мучениях. Селим прислал своему сыну отравленную сорочку! Зачем? Думал жить вечно, устранив единственного наследника? Или не заботился о достойном продолжении рода Османов, могучей лозы Османова древа? Шах-заде не спал тогда всю ночь, все допытывался у Ибрагима. Ибрагим перебирал случаи из истории. Там можно было найти еще и не такое. Но кто же может успокоить себя прошлым?

В конце рамадана умер султан Селим. Умер от болезни почек на пути из Стамбула в Эдирне, в тех самых местах, откуда восемь лет назад выступил против родного отца, султана Баязида Справедливого. Может, носил эту неизлечимую болезнь в себе уже давно и, не имея ни времени, ни надежд на получение престола, расчистил себе путь к власти убийствами своих братьев, их детей, укорочением века самому султану Баязиду. Носил в себе дикую боль, тщетно пытался унять ее опиумом, может, собственной болью мог бы оправдать и свою нечеловеческую жестокость? Жестокость к врагам уже не удивляла никого – все Османы были жестоки. Но к родному и единственному сыну?

Известие о смерти принес в Манису Ферхад-паша, бывший раб родом из Шибеника, грабитель и убийца, любимец Селима и... Сулеймана. Одного очаровал своей зверолютостью, другого быстрым умом, песнями, беседами. За него выдали Сулейманову сестру Сельджук-султаннию, принцессу, гордую своей красотой, но и она, так же, как и валиде, была в восхищении от бывшего раба.

Для Османов происхождение никогда много не значило. Только заслуги, верность, преданность и личные достоинства. Кто умел крикнуть громче всех во время штурма вражеской крепости, ударить сильнее всех саблей, растоптать наибольшее количество врагов, растолкать локтями всех вокруг, лезть напролом без стыда и совести, лишь бы только во славу Аллаха и на пользу и услужение султану. Каждый нищий мог стать великим визирем, вчерашний раб – царским зятем. Ведь сказано: «Разве же у них лестница до неба?»

Паша, загоняя коней до смерти, мчал из Эдирне, чтобы принести в Манису весть о смерти султана, прежде чем об этом узнают в Стамбуле. Он торопил Сулеймана: «Быстрее, быстрее!» В столицу, в султанский дворец, пока не провели янычары, пока стамбульская чернь не выплеснулась на улицы... Сулейман не верил. Султан мог подговорить Ферхад-пашу. Заманить Сулеймана в западню и расправиться.

Ферхад-паша падал на колени, целовал Сулеймановы следы. «Сияние очей моих! Разве бы осмелился раб твой...» Сулейман кривил тонкие губы в усмешке. Слишком много черных теней затемняло сияние самого Ферхад-паши. В царской семье хотел властвовать безраздельно, соперников не терпел. Если перед шах-заде заискивал, то Ибрагима ненавидел открыто. Называл его ржавчиной на сверкающем мече Османов.

Тогда прибыл новый гонец. Теперь уже от великого визиря Пири Мехмед-паши из Стамбула. Мудрый Пири Мехмед прислал Сулейману шелковый свиток: «Моему достославному повелителю. Дня двадцать седьмого рамадана почил в Аллахе всесветлый султан Селим. Смерть его скрыта от войска. Остаюсь для повелений моего достославного властителя».

Сулейман поцеловал свиток. Взял с собой Ибрагима и Ферхад-пашу. Ибрагима для себя, пашу для янычар. Коней меняли через каждые три часа. Ферхад-паша издевался над Ибрагимом: «Рассыплешься!» – «До твоих похорон доживу!» – «Подумай, кому это говоришь?» – «Я уже подумал». Сулейман не разнимал двух фаворитов. Один – его собственный, другой – всей султанской семьи. Может, ждал, кто кого? Но Ибрагим ждать не мог.

На вершине пятого из семи стамбульских холмов Сулейман поклонился покойному султану, и первым, что он повелел, было: воздвигнуть на том месте джамию⁶, тюрбе⁷ и медресе в память великого покойника. Только после этого вступил во дворец Топкапы.

Янычары взвыли, услышав о смерти Селима. Султана звали Явуз Грозный, с ним и они были грозны как никогда прежде. В знак скорби посрывали с голов свои островерхие шапки, свернули походные шатры, бросили их на землю, отказались служить новому султану. Ибо тот признавал только свои книги, выискивая в них мудрость. А мудрость – на конце ятагана. Пусть себе утешается книгами!

Сулейман терпеливо переживал смуту в придворном войске. Надеялся на Ферхад-пашу? Или на старого Пири Мехмеда? Потом велел открыть сокровищницу и стал щедро раздавать золото и серебро. Янычары притихли. Отпустил домой шесть сотен египтян, взятых в рабство Селимом. Персидским купцам, у которых Селим перед походом против шаха Исмаила забрал имущество и товары, возвратил все и выплатил миллион аспр⁸ возмещения. В науку другим и для острстки повесил командующего флотом капудан-пашу Джафер-бега, прозванного Кровопийцей. Никто не знал, что это первая месть Ибрагима. Да и сам капудан-паша не успел догадаться об истинной причине своей смерти. Забыл, как пятнадцать лет назад был привезен на его баштарду худошавый греческий джавуренок со скрипочкой и как, насмехаясь, почесывая лохматую жирную грудь, прячась в тени шелкового шатра на демене, поставил он под солнцем на шаткой палубе мальчонку и велел играть. И тот играл. Может, думал, что и схватили его на берегу только затем, чтобы потешил игрой капудан-пашу? И, пожалуй, надеялся, что его отпустят к папе и маме? «Хорошо играешь, малыш, – сказал Джафер-бег, – и как жаль тебя продавать! Но что я бедный раб всемогущественного и милосердного Аллаха, могу поделаться?» И он даже заплакал от растроганности и безысходности. Сказано же: кого волк схватит, того уже в лес не пустит.

Джафер-бег продал маленького Георгиса за пятьдесят дукатов богатой вдове Феррох-хатун из Маниссы. Добрая женщина не только уплатила бешеные деньги за ничтожного греческого мальчугана, она не жалела денег на самых дорогих учителей; и за пять лет Ибрагим (ибо теперь его так звали) словно заново родился на свет. Не узнал бы его уже никто с маленького острова Парги.

Повезло даже в несчастье. Ему повезло и еще раз: шах-заде Сулейман услышал однажды на улице, как Ибрагим играл на виоле. Небесная игра! Феррох-хатун плакала горькими слезами, расставаясь со своим воспитанником. Воля шах-заде для нее была превыше любви к Ибрагиму. Шестнадцатилетний шах-заде купил себе семнадцатилетнего раба редкостных способностей, знаний и достоинств. Не мог жить без Ибрагима. Назвал его сияхтаром оруженосцем. Ибрагим платил Сулейману преданностью, любовью и благоговением. Не довольствовался словами, взглядами, готовностью служить во всем. Доходил уже и до невероятного. Обрезал Сулейману ногти над серебряной тарелочкой и хранил их в розовой воде, как драгоценнейшую реликвию. Сулейман сочинял стихи про Ибрагима. Называл его макбул – милый, мергуб – желанный, махбуб – любимый. Часто спал с ним в одной комнате, забывая о красавицах из своего маленького гарема. Заставил Ибрагима завести собственный гарем. Пока из одних рабынь. Женщины тоже любили Ибрагима. Он был любовником пылким и утонченным, как все греки. Греком оставался, несмотря ни на что. С Сулейманом они читали Аристотеля по-гречески. Спорили о Платоне и Сократе, тоже по-гречески. Когда в Стамбуле Ибрагим познакомился с богатым венецианским купцом Луиджи Грити, то первый их разговор велся опять-таки по-гречески. Внебрачный сын венецианского сенатора Андреа Грити, на десять лет старше Ибра-

⁶ Джамия – большая (соборная) мечеть.

⁷ Тюрбе – гробница (араб.).

⁸ Аспра – денежная единица.

гима, человек невероятного богатства, Луиджи повел себя с Ибрагимом как с братом. За кипрским вином неторопливо велись беседы о поэзии, об Александре Македонском и Ганнибале, об исламском мудрословии. Грити учился в университетах Вены и Падуи, Ибрагим – только у безымянных улемов⁹. Один родился в роскоши, другой происходил из вековых голодранцев. Но кто бы заметил различие между ними? К тому же, будучи и старше, и богаче, и могущественнее, и образованнее, хозяин дома уступал младшему, незнатному, рабу, наконец, даже в языке! Не удивлялся только Ибрагим. Ибо знал то, что знал и Грити. О смертельном недуге султана Селима. И о том, что Сулейман единственный наследник престола. А также о том, что он, Ибрагим, душа и сердце Сулеймана.

Все-таки жизнь легка и прекрасна. На третий день после провозглашения Сулеймана султаном Ибрагим получил пост смотрителя султанских покоев и звание великого сокольничего. Ему был предназначен двор на Ат-Мейдане, возле античной цистерны Бинбир-дирек. От Ат-Мейдана через ипподром до Айя-Софии и серая Топкапы совсем близко. Султан хотел, чтобы его любимчик был всегда рядом. На Ат-Мейдане происходили смотры султанского войска. Там муштровались янычарские орты¹⁰. Через него пролегал путь торжественных султанских выездов – селямликов. Ат-Мейдан был как бы зеркалом султанского Стамбула. А Ибрагим любил зеркала. Венецианца не удивишь таким подарком, но Ибрагим, поселившись на Ат-Мейдане, часто посылал Луиджи Грити на Перу зеркала, то бронзовые, то серебряные, а то и золотые. У османцев нет предметов без значения. Ведя происхождение от темных сельджуков, они не возлагали больших надежд на письменность, обходились по обычаю своих неграмотных предков языком вещей. Даже совершенно неграмотный османец мог составить любое послание. Зеркало значило: «Я готов всем пожертвовать для вас». Грити охотно включился в предложенную Ибрагимом игру. Присылал ему виноград, свитки синего и голубого шелка, сладости, ветку алоэ. Это означало: «Сердце мое, я люблю вас! Страдания, кои претерпеваю я от своей любви, едва не сводят меня с ума. Душа моя стремится к вам со всей силой страсти. Пролейте благотворный бальзам на мои раны!» Ибрагим отсылал золотую монету. Это значило: «Я буду любить вас еще сильнее».

Истекал второй месяц со дня провозглашения Сулеймана султаном. Убедившись в щедрости и суровости нового султана, Стамбул утихомирился. И хотя огромная империя взрывалась бунтами то тут, то там, в столице жизнь налаживалась. Первым признаком этого было то, что купцы повезли на Бедестан драгоценные товары и самых дорогих рабов. Луиджи Грити через посланца пригласил Ибрагима посетить вместе с ним Бедестан, где должны быть редкостные молодые рабыни. Даже черкешенки, которые ценятся дороже всех. Луиджи Грити намекал Ибрагиму, что уже забыл о его рабстве. Собственно, в этой земле все рабы. Народ – раб султанов, султан – раб Аллаха. Чтобы сделать приятное Луиджи, Ибрагим решил одеться венецианским купцом. Цветные кружева, черный бархат, золотая цепь на шее, перстни с крупными самоцветами, широкополая шляпа с драгоценным плюмажем. Одевали его два греческих мальчика. Красивые и изящные, как и сам Ибрагим. Он окружал себя только красивым. Хотел видеть себя в зеркалах чужих жизней. Не переносил евнухов. Ненавидел надругательства над человеческой природой. Человека лучше убить, чем искалечить. Смерть следует рассматривать как один из способов облегчить человеческую жизнь. И не тому, кто убивает, а кого убивают. Пока живой, можно было утешаться такими рассуждениями. А он был жив и не имел намерения умирать. Может, и никогда. Смотрел на себя в венецианское зеркало, подаренное Луиджи Грити. Нравился себе, как всегда. Тонкий, нервный, изысканный. На бледном лице выразительно очерченные губы, из-под тонких черных усов поблескивают ровные острые зубы, так плотно поставленные, что кажется – их вдвое больше, чем нужно. Иные развивают тело, он

⁹ Улем – мусульманский ученый.

¹⁰ Орты – янычарские воинские подразделения.

развивает дух. Тело приспособлялось к духу, шлифовалось им, зависело от него, а дух был свободный, раскованный, миллионноликий. Потому и любил себя Ибрагим удвоенного, утроенного в зеркалах. В них отражался уже и не он, не его внешность, а его неповторимый дух.

Луиджи Грити застал Ибрагима у зеркал. Как бы в угоду Ибрагиму, купец оделся османцем. Богатый халат из золотистой парчи, расшитые золотом зеленые шаровары, белоснежный шелковый тюрбан, под широченными смоляными бровями поблескивают выпуклые глаза. Искривленный, как у султана Мехмеда-Фатиха, нос, густые пышные усы, чернящая борода. Вылитый паша! Они долго смеялись, рассматривая друг друга. Обнялись и расцеловались в надушенные усы. Даже духи каждый подобрал соответственно костюму: у Луиджи восточные, у Ибрагима итальянские, чуточку женственные, чуть ли не от самой Екатерины Сфорца, к советам которой прислушивались все самые вельможные лица Европы.

– В носилках или на конях? – спросил Ибрагим.

– Только верхом! – захохотал Грити, показывая на кривую саблю в драгоценных ножнах, на парчовой перевязи.

Их сопровождало с десятков бостанджиев, готовых на все. Свиту не удивил Ибрагимов вид. Видывали и не такое. Головами отвечали за его целость и неприкосновенность перед самим султаном – вот и все, остальное их не касалось. Грити об охране, казалось, не заботился вовсе. Его охраняли деньги. Мог купить пол-Стамбула. Еще неизвестно, где больше сокровищ, в замке Семи башен или у него.

– Мы забыли взять евнухов, – спохватился Грити.

Ибрагим нервно передернул плечами.

– Зачем? Я не считаю, что такое зрелище украшает настоящего мужчину.

– Не украшает, но служит первым признаком мужчины. Иначе каждому правоверному пришлось бы возить за собой целый гарем. Слишком хлопотно, не так ли?

– Небольшой гарем лучше самых пышных евнухов. Я бы согласился возить даже гарем, только не этих обрубков человечества. Но мой гарем из одних рабынь. Это напоминало бы мне всякий раз о моем собственном положении.

– Не считаете ли вы, мой дорогой, что пора уже вам изменить свое положение хотя бы в гареме? – прищурился Луиджи.

– Я еще слишком мало живу в Стамбуле. Все, кого знал, остались в Маниси.

– Зато вас знает весь Стамбул.

Ибрагим засмеялся.

– Согласитесь, дорогой Луиджи, что я не могу взять себе в кадуны¹¹ сразу всех красавиц Стамбула! Рабынь – сколько угодно, законных жен только четыре! Так повелел пророк.

– Не надо всех. Начинать нужно всегда с одной. У моего друга Скендер-челебии юная дочь.

– Скендер-челебии? Главный дефтердар?¹² Он мог бы породниться с рабом?

– Не вспоминайте лишний раз того, что для вас уже, собственно, и не существует. Что же касается Скендер-челебии, то он хотел бы угодить новому султану так же, как умел угождать его покойному отцу. Одного слова султана Сулеймана достаточно, чтобы Кисайя стала вашей кадуной. А она истинный цветок из садов Аллаха.

– Как можно судить о красоте, не увидев ее собственными глазами?

– А разве вас не убеждает имущественное положение Скендер-челебии?

– До сих пор я старался наполнять не карманы, а голову и сердце.

– То, что не существует, не может быть наполненным.

– Что вы имеете в виду?

¹¹ *Кадуна* – жена.

¹² *Дефтердар* – собиратель податей.

– Человек даже самый мудрый может умереть от голода, когда у него ветер в карманах! – прокричал Грити так громко, будто бросал эти слова голодранцам, что вертелись в узких улочках, чуть не подлезая под ноги коням. – Я лично отдаю предпочтение наполнению всего без исключения. Может, дефтердару как раз и не хватает вашей головы.

– До сих пор он обходился собственной головой, и не без успеха.

– Есть предел, перед которым бессильны даже такие умы, как Скендер-челебия. Торговля напоминает стамбульский Бедестан – тебе кажется, будто ты схватил ее всю, а между тем ты как рыбак, чем больше ловит он рыбы в море, тем больше видит непойманной. Одни впадают в отчаянье от такого открытия, другие ищут способы поймать еще больше. Может, Скендер-челебии не хватает именно вашего ума и вашего влияния, так же, как вам не хватает свободной жены для гарема.

– Я ничего не говорил о гареме. Не интересовался этим никогда. Если хотите, то о моем гареме, хоть говорить об этом смешно и не полагалось бы, заботился Сулейман.

– Пусть позаботится еще. Тому, кто проводит с султаном иногда и ночи голова к голове, в бессонных беседах, нетрудно выпросить такой пустяк. Одно слово султана – и Скендер-челебия сам приведет свою прекрасную Кисайю на Ат-Мейдан...

Ибрагим молча улыбался под тонкими своими усами. Эти два волка, Луиджи Грити и Скендер-челебия, видимо, уже не в состоянии проглотить добычу, которую хватают по всей империи, им нужен еще и третий. Выбрали его. От него не потребуется никаких усилий. Все они сделают сами. А Сулейманово слово он выпросит легко. Только намекнет – и султан сам станет умолять его, чтобы он взял в жены дочь дефтердара.

– Я пришлю вам редкостное зеркало персидской работы, – сказал Ибрагим.

– А у меня для вас есть еще более редкостная золотая монета, чеканки знаменитейшего итальянского мастера, – ответил тем же Луиджи. Точно купцы, которые на предложение – иджабу – и согласие – кабуля – заключают договор – акд, они соглашались действовать сообща в деле весьма важном, хоть и зародилось оно, как могло показаться, из случайного и несущественного разговора.

Подъезжали к Бедестану – главному стамбульскому базару, такому же старому, как и этот город, уничтожаемому и возрождаемому, как и этот город и как Царьград, неистребимому, вечному, бессмертному. За узенькими улочками, за кучами мусора, потоками нечистот, харчевнями, где дым, смрад, зловоние, брань, насыщение и опорожнение; за шумом и теснотой, солнцем и ветром – целый город, скрытый от мира, под высокими каменными сводами, с сотнями улочек и переходов, со своими площадями, фонтанами, ручьями, даже с собственной мечетью. Тут никогда не подует ветер и не шевельнется воздух, разве что от людских голосов, бряцанья сбруи, рева ослов и рыка диких зверей, которых продают так же, как и живых людей да мертвые товары.

Гул стоит, будто ты внутри исполинской морской раковины, звукам некуда вырваться, они живут здесь вечно, вне времени, для них, как и для всего Бедестана, нет ни дня, ни ночи, ни солнца, ни луны, ни росы, ни зноя, ни зимы, ни лета, только блеск, чары, сон, грезы, запахи мускуса от кож козлиных, бараньих, воловых, сладковатый дух ковров, пьянящие ароматы цинамона, ладана, перца, гвоздики, имбиря, смолы, муската, сандалового дерева, серы, амбры.

Главный проход, по которому можно ехать верхом и даже конными упряжками, куда заходят целые верблюжьи караваны, – с высоким синим звездным сводом. В полутьме боковые лавчонки, набитые товарами, лежащими там, может, и тысячу лет. Сноп света падает сверху сквозь узкие оконца. Тут возвышаются горы лиловых и черных фиг, висят бараньи туши, разрубленные на четыре части, головки брынзы, посыпанной черными зернышками, твердая, точно кость, продымленная бастурма¹³, тут же арабский клей в «слезах», мастика, желатин,

¹³ Бастурма – шашлык из говядины.

басма, хна, ароматические мази для бровей, гашиш, опиум, краски для шерсти, восточные драгоценности; неподвижно сидят толстые купцы в высоких чалмах перед лавками с серебряными, медными и золотыми изделиями, ремесленники кроят и шьют одежду, изготавливают мешки, плетут корзины, едят кебаб и сладости, варят плов и шурпу, режут баранов, жарят мясо (Бедестан съедает за день одних только верблюдов до полутысячи, а баранов без счета), жуют, чавкают, отрыгивают, опорожняются, молятся, кричат и плачут, проклинают и клянутся, старые армяне поют тысячелетние дивные песни, торговцы оружием, поджав ноги, сидят на звериных шкурах, пьют шербеты, поглаживают бороды, бормочут стихи из Корана, а вокруг них кучи ятаганов, ружей, пистолей, дамасские сабли, курдские кинжалы, трости и палицы из железного кавказского дерева, барабаны; еще дальше – золотые цепочки, мониста, жемчуга, перстни, рубины, изумруды, бриллианты, вороха бирюзы, конская сбруя, четки, курильницы, светильники, сандалии из разукрашенного дерева – женщины надевают их, отправляясь в хамам¹⁴, коробки из черепах, из черного дерева, инкрустированные перламутром, старые зеркала, подставки для Корана, солома, сено, дрова, ячмень, ткани – все смешано, перемешано, свалено и навалено без толку, без нужды, без видимого смысла, будто издевка над окружающим миром, где испокон века три силы пытаются придать всему существующему хоть какой-то порядок: природа, человек, боги, чтобы впоследствии, очутившись перед хаосом Бедестана, убедиться в бесплодности всех своих попыток. Над стихией Бедестана не властна никакая сила, кроме разве что стихии еще большей. И такой стихией в Царьграде всегда был пожар. Бедестан горел при императорах, горел при султанах, начиная от первого из них – Мехмеда Фатиха. Владычество каждого султана ознаменовывалось не только завоеванными землями, янычарскими бунтами, сооружением новых мечетей, тюрбе и медресе на площадях и возвышенностях Стамбула, но и диким возгласом, от которого содрогалась вся столица, который мог прозвучать днем и ночью, и в самый большой праздник, и во время страшнейшей эпидемии, в летний зной и в ненастный зимний день: «Янгуйн вар Бедестан!» – «Пожар на Бедестане!»

И тогда в этом замкнутом, загадочном мире начинался ад. К огню невозможно было подступиться, он господствовал безраздельно под вечными сводами базара, все, что там было живого, гибло бесследно и безымянно. Горело все, что могло сгореть, плавилась металлы, трескались камни, высыхали фонтаны, черное пламя било из Бедестана, как из пекла, выжигая все дотла и в близлежащих улочках, потому эти улочки всегда оставались самыми убогими, самыми грязными и самыми заброшенными при всех султанах.

Сулейман еще не пережил своего пожара на Бедестане. Слишком мало он пока владычествовал. Ибрагим и Грити без страха погрузились в глубины Бедестана, проникли в отдаленнейшие его дебри, миновав горы товаров, людскую толчею, рев животных, сияние драгоценных камней, груды отбросов, добрались до майдана, на котором стоял золотой дым от мощных ударов солнца сквозь наклонные окна в высоких серо-черных сводах. Широкие лучи ударялись о каменные плиты площади, курились золотым дымом, отчего казалось, будто все тут плывет, движется, взлетает в пространстве, повисает над древними плитами, над большим беломраморным фонтаном посреди площади, над деревянными помостами, то голыми, вытоптантыми, то устланными старыми яркими коврами, в зависимости от того, кому принадлежали помосты и какой ценности товар предлагался на них и возле них.

Товаром на самой освещенной в Бедестане площади были люди.

Рабы. Приведенные из военных походов, захваченные корсарами, пойманные, как дикие звери, похищенные, купленные, проданные и перепроданные. Юноши редкостных дарований и кастрированные мальчики, девушки и женщины для черной работы, красавицы на утеху сыновьям ислама, гаремная плоть, дивные творения природы, с телами прекрасными и чистыми, коих не отважился еще коснуться даже солнечный луч.

¹⁴ Хамам – баня.

Рабов выводили поодиночке, а то и целыми вереницами из боковых темных переходов, товар подороже показывали на помостах, подешевле продавался целыми толпами внизу, продавцы – байи – выкрикивали цену, нахваливали своих рабов, их силу, молодость, неиспорченность, красоту, ученость, умелость. Поблизости в Бедестане на таких же торговых площадях, с такими же шумом и гамом, толчеей и кутерьмой продавали коней, птицу, ослов, овец, коз, собак, не продавали только кошек, поскольку кошка была любимым животным пророка. Кошки, выгибая спины, терлись о ноги купцов, мурлыкали и блаженствовали, не ведая, что эти люди продавали и покупали людей, как тварей бессловесных, всякий раз ссылаясь на Аллаха и его пророка, повелевшего всем правоверным: «Ешьте же то, что вы взяли в добычу дозволенным, благим...»

Коран запрещал женщине обнажаться перед мужчинами. А здесь женщины были нагие. Ибо они были рабынями на продажу. Одни стояли с видом покорных животных, другие, те, что не смирились с судьбой, – с печатью ярости на лицах; одни плакали, другие сухими глазами остро кололи своих мучителей, была бы сила, убивали бы взглядами.

– В Манисе у вас не было бы такого выбора, – сказал Грити Ибрагиму, когда они приблизились к площади рабов.

– Я не могу без содрогания смотреть на эту торговлю, – нервно подергиваясь лицом, промолвил Ибрагим. – Всегда буду помнить, как продавал меня Джафер-бег, как держали меня голого на таком вот помосте... Теперь я принял ислам и как-то могу оправдать людей моей веры. Им суждено воевать со всем светом, и поэтому невольно пришлось стать жестокими даже в вере и обычаях. Но вы, христиане, разве ваш бог позволяет рабство?

– У бога точно определены только запреты, – хмыкнул Луиджи, дозволенное же всегда неопределенно. Человеку приходится самому определять как самую сущность дозволенного, так и его меру.

Передав поводья слугам, они соскочили с коней и смешались с толпой богатых муштери – покупателей живого товара, шли не торопясь, наблюдая за тем, что творилось на площади, пожалуй единственные здесь, кто мог поглядеть на происходящее глазом непредвзятым, незаинтересованным, почти равнодушным. Словно они приехали сюда для развлечения, не имея намерения покупать, а лишь присмотреться поближе к позорному торгу и порассуждать с высот своей независимости.

– Не забывайте, – напомнил Ибрагиму Грити, – что я наполовину тоже мусульманин и, когда мне надо, охотно повторяю слова Магомета: «...бейте их по шеем, бейте их по всем пальцам!»

– Но ведь вы учились в лучших университетах Европы, воспитывались на книгах величайших мудрецов Греции и Рима, в которых говорится о человеческой свободе и достоинстве.

– Не забывайте, что я купец, – засмеялся Грити. – Когда мы с вами, попивая кандийское вино, обсуждаем диалог Платона «Республика» или «Банкет», я не выступаю перед вами как носитель высоких человеческих помыслов, когда же я оказываюсь на Бедестане, я вынужден вспоминать и то, что даже у любимого вами Аристотеля в его «Вратах», в авабе восемнадцатом, приводятся советы, как нужно покупать рабов и рабынь. Философ советует непременно осматривать рабов против солнца или в местах хорошо освещенных, и осматривать не только их видимые члены, но и все тело и все потайные части тела.

– Я знаю об этом.

– Так если даже Аристотель не стыдился этого, почему же мы с вами должны стыдиться? Не лучше ли довериться во всем Аллаху? Сказано же: «...Аллах мощен над всякой вещью!»

– Вы знаете Коран, как истинный хафиз¹⁵, – похвалил его Ибрагим.

¹⁵ Хафиз – человек, знающий наизусть Коран, а также народный певец и сказитель у мусульман.

– Мне по нраву восьмая сура, которая называется «Добыча». Согласитесь, что такое слово для купеческого сердца самое милое. Купец не повелитель, посылающий своих воинов на завоевание земель, людей и богатств, но он может посылать деньги, часто превосходящие своею силой оружие и самое жестокое насилие. К примеру, тут должен быть мой уртак¹⁶ Синам-ага, коему я заказал привезти мне партию полонянок из славянских земель. Я даже поставил условие: товар должен быть отборным и, как говорится, небудничным, особым.

– Вы что, заплатили этому Синам-аге? – даже остановился от удивления Ибрагим.

– Я дал ему задаток. Иначе говоря, послал свои деньги за море за добычей.

– Это противоречит праву шариата. Ислам разрешает воевать с неверными, захватывать добычу, иметь рабов, но купцы наши строго ограничены законами шариата. Если хотите, мусульманские купцы благодаря шариату самые порядочные во всем мире. Чтобы вещь могла быть проданной, она должна быть дозволенной, ею надо завладеть. Только тогда она становится «мутеваким», то есть разрешается для продажи на рынке.

– Но ведь богатые люди могут заказывать рыбу рыбакам или дичь охотникам, – напомнил Грити.

– Такой обычай существует, но он противоречит правилам. Ни рыбак, ни охотник не могут дать заверения, что они поймают именно то, что вам хочется, ибо это от них не зависит.

– Ловить рыбу или дичь занятие действительно неопределенное, поддерживая Ибрагима под руку, нагнулся к нему Грити, – но ведь с людьми дело намного проще. Я плачу Синам-аге, Синам-ага находит своего знакомого крымского бея, платит ему и просит привезти из королевской или из московской земли таких-то и таких-то рабов или рабынь. Вот и все. Тут мог бы удовлетвориться даже ваш строгий шариат. Селям! – крикнул он внезапно старому турку, сидевшему на ковре, бессильно склонив голову под тяжелым тюрбаном, – случайный наблюдатель этого несправедливого торга, как и Грити с Ибрагимом. Но так могло показаться лишь глазу неискушенному. Ибо старик, будто бы подремывая, на самом деле пристально приглядывался ко всему, что происходило вокруг, его ухо ловило каждое слово, его прикрытые тяжелыми увядшими веками глаза выхватывали из водоворота человеческого все нужное их хозяину. Грити он заметил давно и только сделал вид, будто приветствие купца вырвало его из дремоты. Луиджи, пожалуй, и не заметил хитрости старика, от Ибрагима же ничего не укрылось, глаз у него был наметан, особенно на людское коварство.

– Синам-ага? – спросил он негромко у Луиджи.

– Да будет твоим убежищем рай, – не давая Грити времени на ответ, мигом проговорил старик.

– Тебя давно не было на Бедестане, почтенный Синам-ага, полувопросительно-полуосуждающе заметил Грити.

– Разве бы осмелился я, никчемный раб, занести ногу на ковер торговли в час скорби по случаю смерти великого султана Селима, да наслаждается душа его в садах Аллаха, и пока пройдет положенное время после начала царствования великого султана Сулеймана, которому да воздастся нижайшее поклонение... – заскулил Синам-ага.

– Есть товар для меня? – прерывая его болтовню, почти сурово спросил Грити.

Синам-ага хлопнул в ладоши, и черный евнух, вертевшийся поблизости, пулей бросился куда-то в сторону, чтобы через минуту выступить вместе с несколькими такими же безбородыми во главе вереницы скованных за шеи красивых чернооких девушек, одетых, несмотря на осеннюю стужу, довольно скупо.

– Да ты смеешься? – воскликнул рассерженно Грити. – Смеешь предлагать мне то, чего касалось железо?

¹⁶ Уртак – купец.

– «Мы поместили на шее у них оковы до подбородка, и они вынуждены поднять головы». Я, недостойный, хотел показать что-то для твоего друга эфенди, – пробормотал испуганно Синам-ага.

– Если бы ты знал, кто мой друг, под тобой задрожала бы земля, – довольно произнес Грити. – Есть что путное – показывай, а не вызванивай железом. Разве так звенит мое золото?

Синам-ага, кряхтя, поднялся с ковра, подобрал полы своего халата, кланяясь теперь уже не так Грити, как Ибрагиму, повел их в боковые переходы, в темноту и плесень.

– Старый мошенник! – бормотал брезгливо Грити, спотыкаясь в темноте, попадая в зловонные лужи своими тонкими сафьяновыми сапожками, с возмущением вдыхая запах плесени на стенах.

Из тьмы навстречу им выступили две какие-то фигуры, еще чернее самой тьмы, узнали Синам-агу, исчезли, а впереди заморгало несколько огоньков.

– Валлахи, я выполнял твое повеление с покорной головой, бей эфенди¹⁷, – кряхтел Синам-ага.

– Ты нарочно завел нас в такую темень, где не увидишь даже кончика своего носа, старый пройдоха, – выругался Грити.

– О достойный, – всплеснул руками Синам-ага, – то, что уже продано и зовется «сахих», принадлежит тому, кто купил, и зовется «мюльк», и никто без согласия хозяина не смеет взглянуть на его собственность. Так говорит право шариата. Так мог ли я не спрятать то, что надо было скрыть от всех глаз, чтобы соловей не утратил разума от свежести этого редкого цветка северных степей? Он вырос там, где царит жестокая зима и над замерзшими реками веют ледяные ветры. Там люди прячут свое тело в мягкие меха, оно у них такое же мягкое...

Они уже были около светильников, но не видели ничего.

– Где же твой цветок? – сгорал от нетерпения Грити.

– Он перед тобой, о достойный.

Ибрагим, у которого глаза были зорче, уже увидел девушку. Она сидела по ту сторону двух светильников, кажется, под нею тоже был коврик, а может, толстая циновка; вся закутана в черное, с черным покрывалом на голове и с непрозрачным чарчафом¹⁸ на лице, девушка воспринималась как часть этого темного, затхлого пространства, точно какая-то странная окаменелость, призрачный темный предмет без тепла, без движения, без малейшего признака жизни.

Синам-ага шагнул к темной фигуре и сорвал покрывало. Буйно потекло из-под черного шелка слепящее золото, ударило таким неистовым сиянием, что даже опытный Луиджи, которого трудно было чем-либо удивить, охнул и отступил от девушки, зато Ибрагима непостижимая сила как бы кинула к тем дивным волосам, он даже нагнулся над девушкой, уловил тонкий аромат, струившийся от нее (заботы опытного Синам-аги), ему передалась тревога чужестранки, ее подавленность и – странно, но это действительно так – ее ненависть и к нему, и к Грити, и к Синам-аге, и ко всему вокруг здесь, в затхлом мраке Бедестана и за его стенами, во всем Стамбуле.

– Как тебя зовут? – спросил он по-гречески, забыв, что девушка не может знать его язык.

– У нее греческое имя, эфенди, – мигом кинулся к нему Синам-ага. Анастасия.

– Но ведь в ней нет ничего, что привлекало бы взгляды, разочарованно произнес Грити, уняв свое первое волнение. – Ты, старый обманщик, даже ступая одной ногой в ад, не откажешься от гнусной привычки околпачивать своих заказчиков.

– О достойный, – снова заскулил Синам-ага, – не надо смотреть на лицо этой гяурки, ибо что в том лице? Когда она разденется, то покажется тебе, что совсем не имеет лица из-за красоты того, что скрыто одеждой.

¹⁷ Бей эфенди – глубокоуважаемый господин.

¹⁸ Чарчаф – покрывало для лица.

– Так показывай то, что скрыто у этой дочери диких роксоланов! Ты ведь роксолана? – обратился он уже к девушке и протянул руку, чтобы взять ее за подбородок.

Девушка вскочила на ноги, отшатнулась от Грити, но не испугалась его, не вскрикнула от неожиданности, а засмеялась. Может, смешон был ей этот глазастый турок с толстыми усами и густой бородой?

– Не надо ее раздевать, – неожиданно сказал Ибрагим.

– Но ведь мы должны посмотреть на эту роксоланку, чтобы знать ее истинную цену! – пробормотал Луиджи. Он схватил один из светильников и поднес его к лицу пленницы.

– Не надо. Я куплю ее и так. Я хочу ее купить. Сколько за нее?

Незаметно для себя он заговорил по-итальянски, и то ли эта странная девчушка поняла, о чем речь, то ли хотела выказать свое возмущение нахальным присвечиванием, к которому прибегнул Грити, она громко, с вызовом засмеялась прямо в лицо Луиджи и звонким, глубоким голосом бросила ему фразу на языке, показавшемся Ибрагиму знакомым, но непонятным.

– Что она говорит? – спросил он у Грити.

– Квод тиби, мулиер? – не отвечая обратился Луиджи к девчушке на том же языке, отводя руку со светильником и приглядываясь к ней теперь не только с любопытством, но и с удивлением.

Но девчушка, выпалив свою странную фразу, снова засмеялась и уже не говорила ничего больше, с некоторым даже пренебрежением сморщила свой хорошенький носик и заслонила белой рукой от светильника, который Грити вновь приблизил на расстояние слишком неприятное.

– Вообразите себе, она говорит по-латыни! – воскликнул Грити, обращаясь у Ибрагиму.

– Что же тут странного? Она, наверное, училась у себя дома. Мы ничего не знаем о ней. Может, она из богатой семьи.

– Вы не знаете, что именно она сказала!

– Что же именно?

– Это один из канонических вопросов католических священников, исповедующих женщин. Довольно грубый и непристойный для столь нежных уст.

– А в устах ваших священников он не кажется вам слишком непристойным?

– Они исполняют свой долг. И они грубые мужчины. А это нежное создание. Ты, вонючий барышник, – крикнул он Синам-аге, – что за товар нам подсовываешь? Где купил эту беспутницу? Из-под какого просмердевшего развратника ее вытащил?

– Валлахи! – приложил руку к груди Синам-ага. – Эта девушка чиста, как утренний цветок, искупанный в росе. Она так же нетронута, как...

– Я покупаю ее, – прервал его разглагольствования Ибрагим.

– Бей эфенди верит старому Синам-аге?

– Я покупаю эту девушку, – повторил Ибрагим уже с нетерпением. Сколько за нее?

– Пятьсот дукатов, бей эфенди, – быстренько проговорил Синам-ага.

– Даю тысячу, – небрежно кинул Ибрагим.

– Бей эфенди хочет назвать двойную цену? Но это надлежит делать мне. Купец должен называть двойную цену, чтобы дойти до истинной не торопясь, поторговавшись всласть и вволю, иначе как можно сберечь себя для служения делу, на котором держится мир?

– В самом деле, – вмешался несколько удивленный таким ходом их приключения Грити, – она обошлась мне, как свидетельствует Синам-ага, всего лишь в пятьсот дукатов. Ясное дело, старый негодник обманывает нас, как он это всегда делает, – ведь за такие деньги можно купить трех черкешенок из княжеского рода, но пусть уж будет так.

– Я хочу, чтобы Синам-ага заработал, поэтому даю тысячу. – Ибрагим заслонил собой девушку от Грити и турка, шагнул к ней, она засмеялась ему еще более дерзко и с еще большим вызовом, чем перед тем Луиджи. Смеялась ему в лицо неудержимо, отчаянно, безна-

дежно, стряхивала на него волны своих буйных волос, полыхавших золотом неведомо и каким, райским или адским, не отступала, не боялась, выпрямилась, невысокая, стройная, откинула голову на длинной нежной шее, рассыпала меж холодных каменных стен Бедестана звонкое серебро прекрасного голоса: «Ха-ха-ха!»

Ибрагим вздрогнул от мрачного предчувствия, но поборол это движение души, заставил себя улыбнуться в ответ на смех загадочной чужестранки, которая не плакала, как все рабыни, не стонала, не ломала в отчаянье рук, а смеялась, точно издеваясь не только над ним, но и над всем этим жестоким миром, стремившимся покорить ее, сломать, уничтожить. Ибрагим заговорил с ней на ломаном языке – смеси из славянских слов, выученных от султана Сулеймана, хочет ли она к нему, именно к нему, а не к кому-либо другому. Девушка умолкла на мгновение. Словно бы даже посмотрела на Ибрагима пристальнее. Хотела ли бы? Еще может кто-то спрашивать в этой земле, хотела ли бы она? Ха-ха-ха!

Ибрагим сухо приказал Синам-аге привести рабыню к нему на Ат-Мейдан, повторил, что заплатит за нее тысячу дукаатов, предупредил, чтобы сегодня же к вечеру она была в его доме и чтобы ей не было причинено ни малейшего вреда. Потом поблагодарил Грити.

– Я никогда не забуду этой вашей услуги.

– Могу только позавидовать вашему утонченному вкусу! – воскликнул венецианец. – Эта Роксолана, как я ее называю, пожалуй, действительно нечто такое... – он покрутил пальцами у себя перед глазами. – Как опытный купец, могу сказать вам, что товар приобретает ценность также от цены, какая за него уплачена.

Ибрагим молчал. Быстро выбирался из темного перехода. Чувствовал себя таким же опозоренным, как тогда, когда его, маленького мальчика, продавали на рабском торге в Измире. Правда, теперь покупал он, но разве не все равно? Есть рабы, которые покупают, и рабы, которых покупают. Но все равно рабы. И спасения нет никакого. Он пытался спастись нарядами, роскошью, которой окружал себя благодаря щедрости Сулеймана, считал, что этим облегчает себе жизнь, упорно уговаривал себя, что жизнь, в конце концов, и не может быть тяжелой, раз она называется жизнь. А зачем? Пусть тот старый мошенник Синам-ага обманывает людей, ибо таково его призвание на этой земле, пусть покупает и продает все на свете Луиджи Грити, поскольку он купец, но зачем же тогда убеждать себя в том, во что никогда не поверишь?

Рогатин

Дождем, как слезами, заливало весь видимый и невидимый мир, и душа ее вся плавала в слезах. Она шла, бездомная сирота, несчастная пленница, проданная и проклятая, под чужим небом, прочищенным ветрами, безжалостным и бледным, как холодные глаза стрелков-лучников. Здесь не было дождя, он лил, как слезы, в ее душе да еще там, куда не было возврата, в таком далеком, что сердце вырывалось от отчаянья из груди, недостижимом, навеки утраченном Рогатине.

Что-то темное, большое и страшное – зверь поднебесный, призрак налетело на нее, надвинулось, и голос дождя звучал в ее сердце как невозместимая горькая утрата. Ничего и никогда в жизни не увидишь лучше и милее, не переживешь уже того, что пережила когда-то.

Призраки были здесь, а позади все только настоящее – лишь протяни руку, а тут обман, ненастоящесть падали под ноги, летали в воздухе, выступали из стен, толпились в просмердевших нечистотами улочках, сновали неслышно, как клубки шерсти, а то вдруг прорывались диким мяуканьем – то ли кошачьим, то ли дьявольским. Но дьяволами должны были быть люди, а мяукали кошки, тысячи кошек повсюду, кошек, кошечек, изнеженных и избалованных, безнаказанных и неприкосновенных, ибо кошка была любимым животным их пророка.

А может, это неизбежная кара за то, что осталось там, за морем, за степью, за реками и лесами? Может, и не за ее собственные грехи – она еще не успела их нажить, – а за грехи давно умерших, несчастных, проклятых, заблудших? Нелепость, нелепость! Неужели и теперь должна пугать сама себя, как делал это ее татусь в Рогатине? Батюшка Лисовский в пьяном бреду запугивал грехами и грозил карами всем без исключения, он цеплял грехи ко всему существу, даже к деревьям и камням, не признавая их лишь за самим собой, ибо не мог отличать в своих поступках грешного от праведного, обреченный на постоянное опьянение если не от молитв в церкви Святого духа, то от пива и горилки рогатинских пивоваров Квасницы, Якубовича и Роздольского.

В ее крови были неистовость отца и легкий нрав матери. Гнездились это у нее в душе в таком беспорядке, что даже строгий учитель Иероним Скарбский, к которому посылал ее Гаврило Лисовский в ожидании чудес от своей единственной дочери, не смог навести в той душе хоть какой-то порядок, а, наоборот, еще больше взбудоражил все то, что до времени было приглушено, жило только в зародыше, еще и не проклевываясь к жизни. Жертва темных сил, безвременная мученица (как будто для мук человеку непременно должно быть определено какое-то время!), лишенная свободы, которую если еще и сберегла, то разве что глубоко в сердце и в своей неукротимости. Щедро одаренная волей к жизни, она не имела теперь даже такой свободы, какой обладала всякая паршивая кошка на улицах Стамбула.

Пережила утрату матери, которую четыре года назад взяла в плен орда так же, как теперь ее самое, бесследно исчез несчастный отец в пылающем Рогатине, пережила собственную смерть или какое-то подобие смерти, чтобы теперь воскреснуть, как на старенькой иконе в отцовской церкви Святого Духа, но не в таинственном сиянии святости, не для поклонений вопящей от восторга, одуревшей от чуда толпы, а для прозябания понурого, почти животного. Единственное, что она могла, – это возвращаться без конца памятью в родной Рогатин, к крутым тропкам со щекочущим спорышом по сторонам, к густому малиннику за раскидистой грушей, которая зимой грустно чернела среди снегов, а летом накрывала зеленым шатром чуть ли не всю усадьбу Лисовских. И дом свой видела с крутых улиц Стамбула так явственно, словно стояла перед ним, дом из толстых сосновых бревен, просторный, с окнами на высокий ольшаник, за которым внизу бежит Львовская дорога, упираясь возле вала под горой в Львовские ворота со старым перекидным мостом через ров, а во рву буйство лопухов, лягушки блаженствуют в вечных дождевых лужах, змей и ужей скапливается такое множество, что вот-вот

поползут они на Рогатин. Отец Гаврило Лисовский, коему не раз приходилось ночевать во рву и которого змеи не трогали, словно считая своим, предрекал для Рогатина кару иную, столь же тяжелую, как для библейских Содомы и Гоморры, потому что после этих двух третьим городом, который Бог хотел убрать с лица земли, был именно Рогатин, спасенный случайно, но от кары не избавленный. Как ни пугал своих прихожан пьяненький попик, приношений и пожертвований на церковь было слишком мало, чтобы держаться батюшке Лисовскому среди первых граждан Рогатина, а потому на усадьбе вечно хрюкали огромные свиньи, хищные, как лесные вепри, прожорливые, чавкающие, визгливые. Мама Александра с утра до ночи пекла ячменные коржи, ломала их еще горячими, замешивала в деревянных бадьях пойло, носила, надрываясь, в свинарник тем ненасытным тварям, они мгновенно пожирали принесенное, грызли бадьи, прогрызали доски загородок, выставляли хищные рыла, высовывали длинные тонкие розовые языки, заходились в неистовом визге. Ада, которым отец пугал всех вокруг, Настася не боялась еще с тех пор, как только стала понимать слова взрослых людей, – видела тот ад ежедневно, жила в нем вместе с несчастной своей матерью.

Свиней Лисовский продавал на знаменитой Рогатинской ярмарке, куда стогнали тысячи голов скота, овец, свиней, коз, а покупать съезжался люд из Галича, Львова, Сандомира, из самой Литвы и чуть ли не из Киева. Батюшку Лисовского в шутку называл тот ярмарочный люд «отцом свинопастенным». Но разве мог он бояться каких-то там слов, если сам умел пугать людей словами торжественными, загадочными, темными! Задирал бородку, раздувал ноздри, грозился сухоньким пальчиком, похожим на кривую веточку: «Но своемннно паче же реши, не зная сущаго положеннаго разума». Мама Настаси не очень и тяготилась своим каторжным трудом. Тоненькая и маленькая, вытаскивала из печи черные казаны, месила колючие ячневика, обваривала по локти руки в кипятке, и все это со смехом, в непостижимой радости, с припевками то веселыми, то грустными, например: «Ой, кувала зозуленька, тепер не чувати: ой, де я ся не родила, мушу привикати...» А отец Лисовский все грозился неминуемостью кары для Рогатина и рогатинцев, хотя его маленькая Александра и не была местной, а родилась за Прутом, в селе Княж-Двор, где росли неведомые рогатинцам тысячелетние тисы, деревья вечные и оттого словно бы какие-то угрюмые и нечеловеческие в своей мощи и красоте. А все дети якобы рождались там от заезжих князей, которые, охотясь в окрестных пущах, влюблялись в княжеских девочек и оставляли по себе сладкие воспоминания той кратковременной любви. Князей уже давно не было, а воспоминания оставались, и Александра, чтобы досадить своему безродному попику, называла себя княжной да еще дразнила его тем, что якобы и Настася не его дочь, поскольку за девять месяцев до ее рождения по зимней пороше наскочил на рогатинские леса с кавалькадой охотников сам король польский Зигмунт, и попалась тогда ему на глаза она, Александра княжеская, и понравилась она королю, и... «Королевна! – радостно восклицал пан-отец Лисовский, прижимая к себе маленькую дочку. – Моя доченька – королевна, прошу я вас! Она колыхалась у меня в серебряной колыбельке, а ездить будет в серебряном возке!» Серебряная колыбелька, по которой выбиты цветы и травы, существовала лишь в пьяном воображении Гаврилы Лисовского, старенькая же деревянная люлька, в которой когда-то перебирала ножками Настася, валялась среди хлама в темной кладовушке, но ведь намного веселее и легче жить с легендой, особенно в таком городе, как Рогатин, который и сам возник из легенды. Говаривали, якобы когда-то Галицкий князь Ярослав Осмомысл охотился тут в древних пущах с дружиной воинов своих и полюбовницей Насткой Чагровой, женщиной красивой и дико своенравной. Настка, погнавшись за каким-то зверем, заблудилась в лесу и, совсем уже потеряв надежду на спасение, вдруг заметила гигантского оленя-рогача, невиданной огненной масти. Олень тряхнул рогами, топнул ногой, словно приглашая за собой женщину, медленно побежал в чащу, лишь высокие рога обозначали его путь, и Настка погнала за ним своего коня. Так и вывел олень ее к стойбищу Ярославову, упала она, заплаканная и измученная, в объятия князя, а олень исчез, как дух святой. На том месте Ярослав велел зало-

жить церковь Святого Духа, а впоследствии вокруг церкви возник город, названный Рогатином в честь того рогатого спасителя оленя. Может, и дочку свою Лисовский назвал Настасей в память о той далекой Настке, княжеской полюбовнице, хоть та Настка была счастливой только в легенде, а на самом деле смерть приняла мученическую – на костре, в который бросили ее жестокие галицкие бояре.

Ох, какой безалаберный был отец Гаврило! Исступленно любил свою маленькую женушку и обрек ее на вечную каторгу с прожорливыми свиньями. Гордился дочкой, мечтал обучить ее высшим наукам, хотя сам едва умел прочесть наизусть две молитвы и не мог отличить псалтырь от требника, и готов был даже отказаться от отцовства в пользу едва ли не самого короля польского – только бы все знали, кто растет в доме батюшки Лисовского и в этом благословенном и проклятом Рогатине! Да и сам Рогатин, как и его беспутный сын Гаврило Лисовский, тоже стоял над столетиями своего происхождения и существования какой-то словно бы раздвоенный: с одной стороны – роскошная княжеская легенда о чудесном спасении заблудшей души, а с другой – почти содомская легенда о Чертовой горе, которая высится на восток от Рогатина, точно мрачный курган, насыпанный нечеловеческой силой на равнине. Потому что рогатинцы хоть и построили свой город вокруг церкви Святого Духа, но, видимо, помня о греховной связи князя Осмомысла с распутной Насткой, сами пустились в распутство столь тяжелое по тем давним временам, что Бог разгневался, призвал к себе черта и велел ему засыпать грешный город землей, чтобы и следа никакого не осталось. Черт набрал полную бесовскую свою торбу черной-пречерной земли и понес к Рогатину. Но то ли заблудился, то ли лень его одолела, но землю он ту не донес до Рогатина – как раз в это время прокукарекал петух, нечистый испугался, бросил землю, где был, и исчез. На том месте выросла Чертова гора. И теперь каждую весну детвора бегала туда рвать горицвет весенний, руту-мяту и синяк красный, и как упрямо ни перепыхивал тропинки Кузьма Смыкайло, поле которого было под Чертовой горой, их протаптывали вновь и вновь в тех же местах, где были они испокон века, и отчаявшийся Кузьма, проклиная всю бесовскую силу, каждую осень выставлял свою землю на продажу, но никто не хотел покупать – как ее купишь, если она под самой Чертовой горой!

Гаврило Лисовский был убежден, что Рогатина не минует предначертанная ему судьба. «Черт не донес ту гору – Бог донесет! – восклицал он на Рогатинском рынке. – Кара! Кара!»

У него были огненные волосы, пылали пламенем усы и борода, кожа на лице и на руках тоже была как бы красной, будто он только что выскочил из пекла. Настася унаследовала от своего отца огненные волосы, а от матери ослепительно-белую кожу, нежную и шелковистую не только на ощупь, но и на вид. Красота матери не передалась Настасе, но девочка этим не печалилась, уже знала, какая морока с той красотой у ее маленькой мамуси. Как ни изматывалась Александра с батюшкиными свиньями, а выходила в ярмарочные дни или в праздники на Рогатинский рынок, надев белый, разукрашенный вышивкой сардак¹⁹, обув красные сафьяновые сапожки, выложив на высокую – так и рвала сорочку – грудь несколько ниток кораллов, и мужские взгляды просто липли к ней, а кто понахальнее да посамоувереннее, тот откровенно заигрывал. Особенно надоедали писарь рогатинский Шосткевич, богатый сапожник, изготовлявший сафьяновые сапожки, Захариалович да еще голодранец шляхтич из Подвысокого Бжуховский, здоровенный, мосластый, с торчком поставленными усами, с толстенными руками, свисавшими из обтрепанных рукавов кунтуша²⁰, в рыжих от старости сапогах, слишком тесных для его огромных шишковатых ног. Лисовский бросился как-то защищать жену от настырного шляхтича, но тот пренебрежительно отстранил ничтожного попа своего ручищей, процедив сквозь зубы: «Ты, поп, не вертись у меня под ногами, не то растопчу!»

¹⁹ Сардак – верхнее теплое суконное платье галицких крестьян, расшитое шнуром.

²⁰ Кунтуши – верхняя одежда, мужская и женская.

– Такой облик должен быть у дьявола, – показывая на Бжуховского, закричал отец Гаврило своей маленькой дочке. – Доподлинно такой, Настася! Знай и помни, дитя мое!

Если бы! Теперь убедилась, что дьяволы тысячелики. Часто и не знаешь, где они и какие. Бжуховский был слишком простецкий черт. Не умел ни скрыть своей драчливости, ни хотя бы приглушить ее. Потом прибыл от Сандомирского воеводы, старосты земель русских, шляхтич Бобовский с жолнерами и стал собирать в окрестных селах подати и недоимки. Наскочили и на Бжуховского, у которого в Подвысоком был дом, а землю он давно пропил и жил то охотой, то грабежом, коему открыто предавался с еще двумя-тремя такими же забубенными головушками, как и он сам. Бобовский стал требовать от Бжуховского, чтобы он уплатил подать, а тот податей не платил никогда и никому. И это бы еще не беда, да шляхтич в запальчивости назвал Бжуховского Бруховским, то есть приравнял к обычному хлоп-русину. Этого уж простить Бжуховский не смог бы ни пану, ни Богу. На ночлег Бобовский остановился в господском доме на Подвысоком, а среди ночи туда ввалились какие-то трое. Слуга Бобовского сказал им, что здесь ночует сам пан шляхтич. Один из прибывших взял саблю и канчук Бобовского, вскочил в комнату, где тот спал, и стал бить сонного. «Вставай, сукин сын!» Вбежали еще двое, выволокли пана шляхтича в переднюю за волосы, били палками, его же собственным мушкетом, отливали водой, снова били. Бжуховский, который тоже прибыл на расправу, кричал из сеней: «Бейте хорошенько, только не грабьте! Пусть знает, какой ему хлоп Бжуховский!» Кто-то выстрелил Бобовскому в голову. Обмазали мертвому лицу его же собственным дерьмом, ничего из вещей не взяли. А слуге сказали: «Скажи – убили его за то, что с паном Бжуховским обошелся как с хлопом, а не как с шляхтичем. Чтобы все знали и помнили!»

– Мог бы и тебя, татусю, вот так же убить этот Бжуховский, – испуганно говорила Настася отцу, – за мамусю вот так бы и убил!

– Меня Бог хранит! – выпячивал грудь батюшка. – Божья ласка нисходит на праведных, а всех грешников ждет геенна огненная! Бжуховского же первого!

Но, видимо, геенна огненная была приготовлена для всего Рогатина, потому что не проходило и трех-четырех лет, как на город нападали черные силы, жгли, грабили, убивали, забирали в плен всех, кто не успевал укрыться в лесах возле Гнилой Липы и за Чертовой горой. Батюшка Лисовский, несмотря на постоянное пребывание под хмельком, всякий раз избегал со своими домашними погромов, скрывался в дальнем лесу у Гнилой Липы, куда убегали через Львовские ворота, потому что черные силы всегда врывались в город через ворота Бабинецкие или Галицкие. Мама Александра, как бы предостерегая дочку, напевала ей уже не веселые и беззаботные песенки, а песни такие же страшные, как набег чужеземцев на их несчастный город: «За синім морем, над новим двором, Настася сорочку шие. Шие, вишиває і на двір поглядає. Миколайчику, братику, що там так синіє? Ци ратаєньки орють, ой, ци волики пасуть?» – «Ой, Настасю, сестро, не ратаєньки ідуть і не волики пасуть, оно по тебе, Настасю, туроньки ідуть». – «Ой, Миколайку, братику, найми же ти кухароньку, а я сховаюся під дев'ятеро дверей, під десятий замок. Наїхали туроньки, стали Настасю шукати... Настасина хустонька, но не Настасина голівка; Настасині пацьори, но не Настасина шия; Настасина суконька, но не Настася сама; Настасині панчошки, но не Настасині ножки, Настасині черевички, но не Настасин хід. Стали двері ламати, Настасю добувати; дев'ятеро дверей зламали і Настасю достали...» И плакала мама, словно предчувствуя долю и свою, и своего дитятка.

Где-то в далеких краях жили страхи, мор падал на людей, сотрясалась земля. Сам султан турецкий Баязед, боясь землетрясения, вышел за каменные стены Царьграда, жил в шатре на поле, а в Царьграде рухнули три башни, разрушился дворец Константина Великого, сотрясало землю в Тракии, Боснии, Далмации и даже в близкой Валахии. Кара на людей, а за что?

Настася была еще совсем маленькой, когда напали на Рогатин валахи. Грабили и жгли, как татары и турки, вывезли из Рогатина все ценности, даже сам польский король разгневался и заставил волахского воеводу Стефана вернуть награбленное, и среди всего другого были воз-

вращены все ценные книги, также и серебро из церкви Святого Духа; хотя отец Лисовский, не зная грамоты, не мог составить описи всего церковного имущества, но помнил все так, что с его слов была составлена бумага, по которой валахи и вернули украденное. А было там три чаши позолоченных, три белых, всего чаш восемь, а в них серебра шестнадцать гривен и пять и пол-лута²¹, а еще кресты, кадильницы, лампы, пожертвования – на сорок три гривны и тринадцать лутов серебра. Кроме того, Евангелий в оправе три, служебников в оправе три, Псалтырь и Часослов, Триодь цветная, октоих да еще четыре книги, названий коих запомнить он не в силах, ибо великой мудрости книги. Надеялся, что дочка выучится грамоте, постигнет все известные и доступные в Рогатине науки и тогда прочитает те редкостные книги, которые собрались в его церкви за много веков.

У священника Ивана Теребушка училась Настася читать. Теребушкова наука обошлась Лисовскому в целую свинью. «Свинью целую положил на свою Настасю, прошу я вас!» – восклицал отец Гаврило. Он плакал, растроганный, глядя на свое теперь уже ученое дитя. «Мал-жонка моя верно-милая уродила мне со мною сплужденую дочку панну Настасю, первую в городе моем, которая во всем теле своем, тако в лице, яко и в знаках, которые у меня, притрафила и уродила». Но в пьяном хвастовстве, попирая собственное достоинство, упорно величал дочку королевной, а достаточно ли для «королевны» мизерной науки, почерпнутой у Теребушка? Еще бы набраться ей и добрых обычаев да наук высоких, а дать все это в Рогатине мог единственно викарий Иероним Скарбский. Когда же отец Гаврило сунулся к викарию, тот заломил цену уже не в одну свинью, а в целых шесть. «Шесть свинок за науку его латинскую! – потрясал маленькими кулачками отец Лисовский. – За язык славянский свинью одну, а за латину целых шесть? А язык же славянский правдой божьей основан, построен и огражден-есть, в латинском же только лжа, поганская хитрость и фарисейство сидит, почивает и обладает!» Но кто же еще в Рогатине мог похвалиться тем, что положил на всю науку для своего дитятка одну, а потом целых шесть откормленных свиней? И мог ли уберечься от искуса похвалиться таким деянием на протяжении всей своей жизни батюшка Гаврило Лисовский? Ведь и оправдание было под рукой. Ибо разве же проживешь с одним Часословом? Без латыни не поймешь ни судьи, ни стряпчего, ни посла. И Настася стала ходить на усадьбу к викарию Скарбскому. Он ошеломил маленькую девочку огромностью своих знаний, суровостью ума. Его небудничность поражала и оглушала. Одевался, как никто в Рогатине, высокий, тонкошей, с грустными темными глазами, с тихим голосом, равнодушный к мирским утехам, далекий от мелочей и суеты, он поразил Настасю в самое сердце, и она влюбилась в него не так, как доньне влюблялась в сопливых мальчишек, с которыми носилась босиком то на Чертову гору, то в отцову церковь разглядывать причудливые древние иконы с боролатыми святыми.

Мордастая Урсуля, дочка городского слесаря Блазея Зебриновича, узнав про Настасину влюбленность, безжалостно высмеяла подругу:

- Да ведь тот Скарбский ни на что не способен!
- Как это? – возмутилась Настася.
- Еще и голомордый!
- Сама голомордая.
- А видишь, как он ходит? Разве мог бы он от татар убежать?
- Зачем ему убежать? Он ни от кого не станет убежать!
- Так где же он будет?
- А тут и будет!
- Вот бы я поглядела!
- Поглядишь, если захочешь.

²¹ Лут – мера веса.

И словно бы накликали своими безрассудными разговорами тяжкую беду. Писал летописец про тот год: «Татар сорок тысяч с четырьмя царьками на Русь вторгнулись и положились недалеко Бузска кошем, а отряды по всем сторонам распустили, палячи, вяжучи, убиваючи, в неволю беручи, и больше нежели шестьдесят тысяч люда тогда забрали в неволю, кроме детей, а старых обезглавливали и на миль сорок волости вдоль и вширь огнем и мечом завоевавши, домой вернулись в целости».

Схватили татары и Настасину маму, сгинула она навеки, а викарий Скарбский сбежал прежде всех и быстрее всех – у него всегда пара коней была готова на такой случай и люди верные, сообщавшие, откуда налетает орда. Отец Лисовский выезжал из Рогатина в села крестить детей. Там и спасся. А Настасю с мамой налет застал на усадьбе. Мама только успела втолкнуть малышку в свинарник: «Дитятко мое, спасайся!» А потом темный топот, гогот, свист стрел, свиньи метались, погибая, подплывая кровью, валились тяжело на девочку, и – темный топот, потемнело все, снова мамин крик, и снова топот, и едкий смрад конского пота, а она задыхалась среди луж крови – своей собственной или убитых животных? Отец прибежал лишь ночью. Упал на колени. Плакал, и молился, и проклинал. Осталась без мамы, спасенная мамой. Тьма поселилась в Настасиной душе с того дня, и хоть смех со временем снова пробивался наружу, но был уже не такой беспечальный, беззаботный, как при маме, про влюбленность свою в сурового наставника и не вспоминала, да и какая там влюбленность в одиннадцать лет!

Тайком пробирались в костел святого Николая, когда ксендз Станислав Добровлянский исповедовал рогатинских мещанок. Урсуля, Янечка и Настася прижимали уши к деревянной решетке, прислушивались к бормотанию пана Станислава: «Фецисти квод кведам мулиерес фациере солент квандо либидинем се вексантем экстингере волонт?..»²² Думалось ли, гадалось во время тех дерзких забав, что придется ошеломить этим грязным вопросом из католического пенитенциария чванливого Луиджи Грити на стамбульском Бедестане?

Разруха воцарилась в городе, страх и неуверенность, чуть ли не каждую ночь рогатинцы убегали в леса, хватая из имущества что придется. Мошко Шаев, хозяин каменного дома с подвалом на рынке, прятал от татар деньги под камнем, а Василь Чуйчишин видел и украл. Рассказала об этом Марунька Голод, жившая в халупе возле большака Галицкого. Однако на суде Марунька отказалась от показаний, из-за чего Шаева заставили извиниться перед Василем Чуйчишиным такими словами: «Жаль мне, что я это содеял, такие слова с гневом сказал, когда о вас ничего плохого не знал. Прошу вас, во имя Бога, чтобы мне это простили». И все равно Шаева посадили в башню, где он должен был отсидеть неделю за поклеп.

Отчаянье от утраты матери постепенно проходило, мир вокруг большой, зеленый, прекрасный. Зло отступало до отдаленнейших горизонтов воображения, нужно было жить и любить, чтобы не погибнуть, смеяться и напевать парням, собирать цветы возле Липы и Свиржа, прислушиваться к лесным шелестам, как к собственному дыханию, жить среди неприступных, исполинских буков, ласковых лещин, притаившихся под листьями грибов, ярких твердых ягод. Часто в те годы шли дожди. Она убегала тогда из дому, блуждала в одиночестве по лесу, там было живое дыхание буйной зелени и ощущение неудержимой силы прорастаний, бесконечности и летучести тела и духа. А может, это она росла и ей хотелось туда, где это ощущалось всего острее?

Когда-то была ежиком под кленовым листочком, мама называла ее солнышком, отец – королевной, напевала себе песенки, подпрыгивая на одной ножке, высовывала от удовольствия язычок, показывая белому свету: «Вот!» Не терпелось ей поскорее вырасти, рвалась из детства, как из тенет. Куда и зачем?

Теперь чувствовала себя взрослой, кровь струилась в ее сильном, гибком теле, неизъяснимое томление нападало внезапно, почти так же, как настырные братья Бабыяки, скрытые

²² Поступала ли ты, как другие женщины, для удовлетворения своего вожделения?.. (лат.)

и злые, как маленькие собачонки: то прожгут штаны на портном Яне Студеняке, то дернут за бороду самого райцу Голосовского, то украдут котел у лудильщиков-цыган, то прижмут какую-нибудь из девчат, чудом она спасется. От Бабьяков Настася убегала, не поймали ни разу, но разве она знала, от кого бежит? Наверное, пришло для нее такое время, пора приспела, когда толкает тебя какая-то сила к людям, а ты выбираешь одиночество. Наверное, и спаслась благодаря своей странной привычке убегать из дому по ночам.

Татары налетели на Рогатин ночью, прокрались тишком сразу через все ворота. Запрудили все улицы, окружили все дома, лавки и церкви, а потом подожгли весь Рогатин, выгоняя людей из помещений, – привыкли убивать и хватать на просторе. Колокола в церквях Богородицы и Святого Духа ударили и захлебнулись. Рогатин запылал багряно и безнадежно. Настася побежала сначала домой, потом вниз, к отцовской церкви, увидела запряженный воз возле церкви, да не суждено уже было отцу Лисовскому вывезти этой подводой церковные ценности, потому что когда бежал к возу с тяжелой шкатулкой в руках, появился на пути черный всадник, а перед Настасей – другой, пламя ударило отовсюду, уже и не видела она, живой упал несчастный и одинокий ее отец или мертвый и сожгли ли старую церковь с иконами и ризами. Ничего не видела и не слышала, очнувшись на том самом возу, но катился он уже не пылающими улицами Рогатина, а Бабинцами, а потом все дальше и дальше, на Валахский шлях, прозванный татарами Золотым за неисчислимую добычу, которую захватывали на нем. Туманы Днестра и Прута оставались в стороне, потоки и растоки зеленого края, воды белые и черные, дожди и птичий щебет лесной – все оставалось позади, навсегда, навеки. Только топот копыт и свист стрел в степи, травы жесткие и земля твердая, как отчаянье. Белым телом земля проборонована, кровью залита, копытами конскими вспахана. «Із-за гори-гори, темнього лісу татари ідуть, русиначку ведуть. У русиначки коса з золотого волоса – щирій бір освітила, зелену діброву і бити дорогу. А за нею біжить в погоню батенько її. Кивнула-махнула білою рукою: «Вернися, батеньку, вернися, рідненький, уже ж мене не однімеш і сам, старенький, загинеш. Занесеш голову на чужую сторону, занесеш очіці на турецькі границі!» Ее везли на отцовской подводе, потом на черной арбе татарской, укрытую от солнца, окруженную заботой и вниманием, хотя рядом гнали закованных в железо таких же, как она, и намного красивее, чем она. Потом было море – горы враждебной воды, тьма таинственных чужих просторов, полных загадочности, грозно и враждебно припавших к обычному миру земли. Был страшный невольничий рынок в Кафе, где ее продали Синам-аге, и снова Черное море, где лучше бы ей было утонуть, но она не утонула – осталась жить дальше.

Жить? Зачем? Надежды умерли в ней давно, молитвы, какие знала с детства, потеряла все до единой, существовала теперь в сплошной униженности, в полубреду, в полусознании, но где-то в отдаленнейших глубинах души еще ощущая, что продолжает жить, что не умрет, что жить надо, надо, надо! Поэтому смеялась и пела на невольничьем рынке в Кафе, и на кадриге Синам-аги, и даже в темных дебрях Бедестана, когда ее продавали вторично и, может, навсегда.

Отара

Было в ней что-то особо привлекательное – то ли в неземном сиянии золотисто-красных волос, то ли в изящной, гибко-змеистой фигурке, если уж тот дикий татарский всадник даже ночью, в призрачном свете пожара, пленился ею так, что выделил ее из всех других пленниц и до самой Кафы вез как драгоценнейшее сокровище. Да и суровый викарий Скарбский, точно чувствуя клочкотанье огня в ее сердце, часто заводил беседы не только о спасении души, но и о теле, и она с удивлением отметила, что и сам Бог признает плоть, эту одежду души, и что чем плоть лучше и совершеннее, тем довольнее должен быть таким человеком Всевышний. «Плоть – значительная часть нашего естества, – говорил Скарбский. – Следует повелеть нашему духу, чтобы он не замыкался в самом себе, не презирал и не оставлял одинокой нашу плоть, а сливался с нею в тесных объятиях». От таких слов Настася невольно краснела, а суровый викарий, словно бы не замечая девичьего смущения, глядя поверх ее головы, продолжал: «Правосудие господнее предвидит это единение и сплетение тела и души таким тесным, что и тело вместе с душой обрекает на вечные муки или на вечное блаженство».

Если бы ей дано было выбирать, она выбрала бы только вечное блаженство, иначе зачем жить!

«Те, которые хотят отречься от своего тела, пытаются выйти за пределы своего естества и бежать от своей человеческой природы – это безумцы. Вместо того чтобы превратиться в ангелов, они превращаются в зверей, вместо того чтобы возвыситься, они унижают себя...»

«Я не отрекусь, не отрекусь никогда, – клялась себе в душе Настася. Не отрекусь и не унижусь!»

Когда же ступила на стамбульский берег, забыла обо всем. Шла за вереницей своих законных в железо несчастных подруг, шла свободно, будто турчанка, в шелковых широких шароварах, в длинной сорочке из цветистого шелка, в зеленом девичьем чарчафе, который закрывал ей лицо и волосы, в искусно расшитых, с загнутыми носками туфельках из позолоченного сафьяна, мостик качался на связанных бочках, брошенных в грязную воду, мир качался у Настаси перед глазами, огромный город поднимался перед нею округло-выпукло, бил червонностью солнца из множества оконных стекол, скорбно зеленел свечами кипарисов, нацеливал на нее мрачные башни древних стен, острия бесчисленных минаретов. Она шла вприпрыжку по тому шаткому мостику, вымевивалась спиной, всем станом, молодая, гибкая, жадная к жизни, ступала на край этой чужой, страшной, враждебной земли, тоскливое стенанье, как недавно на море, рождалось в ее душе, от отчаянья она, казалось, даже теряет зрение, но встряхивала упрямо головой, прыгала вперед, точно спасаясь от шарканья старческих ног Синам-аги позади себя: шарк-шарк! В воде залива – целые свалки, мусорные кучи, затонувшие гнилые доски, отбросы, собачья падаль, обломки дерева, облепленные ракушками, смрад. У воды раскопанная земля, топи, лужи, болота, гниль, затопленные сгнившие челны. А залив назывался Золотой Рог. Где же то золото и что тут золотое? Разве что солнце на небе, но как же оно высоко!

К Золотому Рогу бегут отлогие улочки, переплетенные между собой в мертвых объятиях, как утопленники, старые деревянные дома, украшенные густою резьбой, криво наклоненные друг к другу, вот-вот упадут. Улочка рассечена солнцем пополам – тень и зной – так и шкварчит. Синам-ага велел вести полонянок по теневой стороне. Может, сожалел, что не дождался вечера на кадриге, чтобы не выставить свою добычу улицам на глаза? А улицы были заполнены одними мужчинами. На маленьких площадях, у фонтанов, в тени платанов, даже на солнце-цепеке, на каждом свободном месте мужчины сидели густо, как мухи, недвижимые и черные. Лишь уличные продавцы воды, миндаля, сладостей, жареного мяса слонялись между теми черными фигурами, что-то выкрикивали гортанно, клочкующе, словно бы задыхаясь, кормили и

поили те странно неподвижные, внешне спокойные – ни брани, ни драки, ни споров, ни голоса, ни ветра – толпы мужчин. Да и не могли они ни разговаривать, ни спорить, ни драться, ибо были предельно заняты: все ели, жевали, глотали, пили холодную воду, снова ели. Варенные в котлах кишки, вымя, потроха, сердца бараньи и воловьи, жирные кебабы, какие-то овощи, с которых стекал жир, – видно было по шеям, с какой жадностью глотают они огромные куски. И хоть бы кто-нибудь подавился! Испражнялись, недалеко и отходя. Смерд мочи, отбросов, смолы, дыма, чеснока, рыбы. Торговцы разносили еще и какие-то съедобные цветы, но куда там аромату цветов среди этой загаженности, среди этого жеванья, глотанья и испражнений! Ели ненасытно, стоя, на ходу, как кони или верблюды, и все неотрывно смотрели на белых женщин, которых гнали по улицам надсмотрщики Синам-аги. Взгляды бежали за женщинами, скользили по ногам, липкие, грязные, тяжелые, мужчины урчали, как коты, похоть била из их изленившихся фигур – о проклятые самцы, твари, псы! Вот где женщина чувствовала, что за проклятие ее тело, вот где хотела если уж не взлететь птишкой в небо, то провалиться сквозь землю, хотя, пожалуй, и в земле не спасешься от тех взглядов, от тех страшных глаз.

Глаза были как облик и дух этого гигантского города. Откровенно наглые и скрытые, невидимые, но ощутимые взгляды. Впечатление было такое, что глаза неотступно следят за тобой и невозможно от них укрыться ни под водой, ни под землей. Глаза на улицах, в деревянных домах, за деревянными решетками, в листве деревьев, в фонтанах, в надписях на белых и серых плитах, на высоких минаретах и широких выщербленных каменных стенах оград, в воздухе, как тени птиц, облаков или падающих листьев. Взгляды холодные, как прикосновение змеи, шероховатые, как тоска, вечная мука надзора, недоверия, подозрительности, город как сплошная страшная тюрьма для женщин. Настася старалась не замечать ни тех взглядов, ни тех глаз. Только бы не поддаться отчаянью, забыть о тех глазах. «Смейся, дитя мое!» – говорила когда-то ей мама. Где же вы, мама?

Веял удушливый ветер лодос – ветер умерших. Неистовствовало солнце, бледное и страшное, как глаз слепого. А дома солнце всегда светило сквозь зеленые листья, сквозь густые ветви, ложилось на землю кружевными бликами, кропило зеленым сиянием их дом, тропинку от ворот, траву по сторонам тропинки, криницу с замшелым срубом, березовые и дубовые дрова под высоким навесом. Кому здесь об этом расскажешь?

Покинута всем светом, точно совершила какие-то большие преступления. А ведь она невинна и праведна, как только что вылупившийся птенчик. Кому об этом расскажешь? Иов тоже был справедлив, а пережил тяжелейшие несчастья. Или так уж суждено всем невинным и справедливым? А те, что следят неотвязно и неотступно за каждым ее шагом? Спросить бы у них, сколько преступлений, грабежей, убийств на их совести. Греются на солнце, смеются, жуют, глотают... Круглоголовые мальчишки – чоджуки – шастают под ногами, что-то кричат полонянкам, швыряют камешки, обсыпая пылью. Евнухи лениво отмахиваются от их настырности, взрослые наблюдатели подстрекают и подзуживают мальчишек, – здесь одни только мальчишки, ни одной девочки, так же как и ни единой женщины на улицах, кроме этих несчастных, среди которых самая разнесчастная она, Настася. Потому что похотливых взглядов на ее долю приходится больше всего. Скованные цепью, в железных ошейниках, для мужской толпы они уже словно бы и не женщины, взгляды лишь скользят по ним и летят дальше, жадно выискивая себе поживы полакомее, и ею неминуемо должна стать она, Настася, одетая турчанкой, маленькая, изящная, гибкая, как зеленый плющ на древних каменных стенах Стамбула, для турок она тоже турчанка, может, жена старого Синам-аги, может, дочка, это не важно, главное – женщина, молодая, правоверная, отчего наслаждение от созерцания еще увеличивается, и поэтому они летят на нее, забивают ей дыхание так же, как удушливый ветер лодос.

Пробовала спасаться, отводя глаза на стены Стамбула. Начинались они от Золотого Рога. Темные камни, циклопические скалы, могучие глыбы, зубастые короны башен, то четырехугольных, то круглых, тесаный камень и красная плинфа оград, руины прилепившихся к огра-

дам древних дворцов, глубоченные рвы, наполненные уже не водой, а обломками прежних святынь и жилищ, травой, зельем, стволами поваленных деревьев, чащами; где-то за рвами широкая дорога, выложенная белыми плитами, наверное, еще во времена греческих императоров, на склонах рвов клочки огородов, потом снова дикие заросли, плющ, иудино дерево с цветами неестественной окраски, выгоревшая на солнце трава, ослы с красными тюками на спинах, круглоголовые чоджуки.

Та каменная ограда воспринималась как огромное тело этого загадочного города, а здесь, на улицах, – его внутренности, требуха, грязь и отбросы. Вся жизнь сосредоточилась в тех лабиринтах взглядов, в капканах огненных глаз фанатиков, в неистовстве похоти. И если жизнь представлялась как евхаристия, как неудержимый бег апостолов к тайне, то теперь Настася могла убедиться, что тайн не существует, что и на тех апостольских вершинах, пожалуй, можно найти проклятие, а то и конец.

Чтобы хоть немного успокоиться, девушка пыталась искать сходство между стамбульцами и навеки утраченными людьми из Рогатина, которые стояли у нее перед глазами неотступно и упорно, а может, то она сама выстраивала их рядами в своем изболевшемся воображении, цеплялась за них, как за последние остатки жизни. Не было ничего общего. Может, только караим-пекарь походил немного на этих мужчин. Разве же такими были рогатинцы, добрые, ласковые, какие-то светлолицые, наивные, как дети? А эти усохшие, шершавые, вываленные и высушенные на солнце и, видимо, ленивые, как тот Василь из Потока, что упорно ставил свою халупу слишком близко от синагоги, и хоть правоверные евреи всякий раз разваливали ее, не давая Василию возвести кровлю, он вновь и вновь упрямо лепил ее, потому что лень было отодвинуть ее дальше.

Вспомнив того дурноватого в лени Василя, Настася чуточку развеселилась и смогла даже затеять сама с собой причудливую игру. Никакая она не полонянка, не проданная, не купленная, не дочка попа из Рогатина, а молодая турчанка, принадлежит этому живописному необычному миру, а мир принадлежит ей. Она беззаботная девчушка, свободная, властная, богатая. Может, даже дочь Синам-аги. А то и выше. Это неважно, главное – молодая, привлекательная, правоверная, отчего, вишь, наслаждение для взглядов еще усиливается, и потому они устремляются на нее, минуя бедных ее подруг, забивают ей дыхание так же, как удушливый ветер лодос.

Шла, еще больше изгибаясь всем станом, играли в ней все суставы, вытанцовывала каждая мышца, и тонкий шелк послушно передавал все это, повторял и воссоздавал, даже как будто вздох восторга сопровождал и преследовал таинственную, необыкновенную девушку, катился за нею, нарастая, умножаясь; соревнуясь в мощи с неустанным ветром: «Бак, бак, бак!»²³

Но игра прервалась неожиданно и жестоко.

Уже и до этого Настася заметила, как много животных на стамбульских улицах. Точно в Рогатине в ярмарочные дни. Кони с всадниками и расседланные, ослики с поклажей в сонной дреме или в жутком крике, напоминавшем скрип сухого колеса: «И-ах, и-ах!», собаки грызутся за голые бараньи кости или щелкают зубами, вылавливая блох в слипшихся от грязи хвостах, изнеженные гибкоспинные кошечки наслаждаются своей неприкосновенностью и безнаказанностью, воркуют голуби возле мечетей и фонтанов, чирикают маленькие птички, распевают в ветвях, вычирикивают в густой листве, – мир красочный, ласковый, совсем чуждый этому нечеловеческому лабиринту, выстроенному из скользких вожаделенных взглядов и из ненавистного дыхания, охватывающего тебя смердящим облаком, сквозь которое невозможно прорваться.

²³ Смотри, смотри, смотри! (турецк.)

Все живое для полонянок казалось недостижимым на этих улицах, и они словно забыли о его существовании так же, как медленно забывали своего бога, который бросил их одних, отчурался, остался за морем, послав их на чужбину, беспомощных и слабых.

Но вот впереди скорбной вереницы пленниц, неведомо откуда взявшись, точно родившись из стамбульской пылищи, появилась отара серых лохматых овец, овцы плотно теснились, напуганно налетали друг на друга, тыкались сослепу то в одну, то в другую сторону, чабаны в высоких, островерхих мохнатых шапках, в когда-то белой, а теперь безнадежно заношенной одежде гийкали на своих одуревших животных, сбивали их герлыгами еще плотнее, гнали дальше на продажу или на убой, а впереди отары важный, как Синам-ага, выступал огромный черный козел с повешенным на шею колокольчиком-боталом из позеленевшей меди, и та медь с каждым покачиванием козлиной шеи звенела глухо, мучительно, как Настасино сердце.

Отара была как их доля. Овец гнали, как людей, а людей – как овец. Духом гибели повеяло на несчастных женщин от этого зрелища, в ноздри бил им смрад ненависти, слышался голос смерти.

– Гий! Гий! – кричали чабаны-болгары голосами устало-тусклыми, а Настасе чудилось, будто это глубоко в ее груди звучит чье-то предостережение: «Стой! Стой!», и тело ее словно одеревенело, потеряло гибкость и изящество, не могла ступить ногой, не могла шевельнуться – вот так бы упала, ударилась о землю и умерла тут, чтобы не видеть этого чужого города, не ощущать на себе липких, ползущих, как гусеница, взглядов, не знать унижения и страха, сравняться с теми овцами, предназначенными на убой.

Но снова смиловилась над нею судьба. Евнухи свернули в проулок к двухэтажному деревянному дому, старому и расползшемуся, как и его хозяин Синам-ага. Настася краем сознания отметила густую резьбу, маленькие окошечки с густым плетением деревянных решеток наверху, крепкую дверь с толстым медным кольцом, старое дерево перед домом, клонившееся на стену, вот-вот упадет. Из бесконечного Стамбула, из его ненависти и муки бесконечной они были брошены теперь в тишину этого прибежища, в тесноту деревянной клетки-тюрьмы, где свободу заменили решетками на окнах, старыми коврами на полу, подушками – миндерами, беспорядочно разбросанными между медной посудой, курильницами, вещами незнакомыми, причудливыми, бессмысленными и враждебными.

С женщин сняли железные ошейники. Наконец-то, наконец! Показали, где вода, где все необходимое.

Хоть и навеки, может, похоронены в этих четырех стенах, но спасены от алчных глаз и живы, живы!

Синам-ага, приглядываясь, как провожали пленниц на женскую половину и крепко запирали для надежности, бормотал молитву благодарности: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного. От зла тех, что дуют на узлы, от зла завистника, если он завидовал!»

Медленно поплелся на мужскую половину дома – селямлик. Теперь мог терпеливо выжить со своей добычей, пока придет время выгодно ее продать. Ту красноволосую продаст венецианцу, давшему задаток, а до тех пор она будет вместе со всеми. Торопиться с нею не следует, хотя она и не его наполовину. Никогда не надо спешить отдавать чужое. «Если дадите Аллаху хороший заем, он удвоит вам и простит вас... знающий сокровенное и явное, велик, мудр!..»

Валиде

О своей новой рабыне Ибрагим забыл. По крайней мере, хотел, чтобы так думали. Кто? Его евнухи, которых должен был держать для присмотра за гаремом? Или сама рабыня, слишком дерзкая и неукротимая для своего положения? Дерзости он не прощал никому. Даже султан Сулейман никогда бы не осмелился быть дерзким с Ибрагимом. Отношения между ними вот уже десять лет были чуть ли не братские. Старшим братом, как это ни удивительно, был Ибрагим. Сулейман подчинялся Ибрагиму во всем: в изобретательности, в капризах, в настроениях, в спорах, в конных состязаниях и на охоте. Шел за ним с удовольствием, словно бы даже радостно, Ибрагим опережал Сулеймана во всем, но придерживался разумной меры, не давал тому почувствовать, что в чем-то он ниже, менее одарен, менее ловок. Все это было, но все было в прошлом. Смерть султана Селима изменила все в один день. Ибрагим был слишком умным человеком, чтобы не знать, какая грозная вещь власть. Человек, облеченный властью, отличается от обыкновенного человека так же, как вооруженный от безоружного. Над султаном – лишь небо и Аллах на нем. Аллах во всем присутствен, но все повеления исходят от султана. Теперь Ибрагим должен был оберегать Сулеймана, охранять его днем и ночью, удерживать в том состоянии и настроениях, в каких он был на протяжении десяти лет в Манисе, конечно же по отношению к себе, ибо зачем же ему было заботиться о ком-то еще на этом жестоком и неблагодарном свете? Напряжение было почти нечеловеческим. Быть присутствующим даже тогда, когда ты отсутствуешь. Появляться, чуть только султан подумает о тебе, и суметь так повлиять на султана, чтобы он не забывал о тебе ни на миг. В Манисе Ибрагимовыми соперниками были только две женщины – мать Сулеймана валиде Хафса и любимая жена Махидевран. Впрочем, остерегаться он должен был только валиде, ибо она имела власть над сыном таинственную и неограниченную. В Стамбуле валиде приобретала силу еще большую, но тут появилась соперница самая страшная – держава, империя. Она затягивала в себя Сулеймана, грозила проглотить, состязаться с империей было бессмысленно, поэтому Ибрагим должен был теперь заботиться лишь об одном: не отставать от Сулеймана, быть с ним сообща в добре и зле, ясное дело, уступая ему для вида первое место, хотя на самом деле из всех сил удерживался в положении, которое занимал в Манисе. Его называли хитрым греком, никто при дворе не любил его, кроме Сулеймана и валиде, которой нравилось все, что мило сыну, а Ибрагим не проникался ничьими чувствами, весьма хорошо зная, что каждый выплывает из моря в одиночку, полагаясь лишь на собственную ловкость. Недаром же он родился и вырос на острове из твердого белого камня. Знал еще сызмалу: жизнь тверда, как камень, и окружена глубоким безжалостным морем. Дух островитянина жил в Ибрагиме всегда, хоть и глубоко затаенный. Если говорить правду, то Ибрагим глубоко презирал людей с материка, но презрение свое умело скрывал, ибо численное преимущество было не за островами, а за материком. Численное, но и только. Силой души он превосходил всех. Также и султана. Знал это давно, никому другому этого знать не полагалось. Поэтому должен был прикидываться предупредительным и даже унижаться перед султаном. Дух его, неспособный к унижению, страдал при этом безмерно, но Ибрагим ничего не мог с этим поделать, разве что истязать тем или иным способом свое тело. Мог отказаться себе во вкусной еде, когда Сулейман не хотел ничего есть, месяцами не навещался в свой гарем, сопровождая Сулеймана в его странствиях, на охоте, в размышлениях и скуке; забывал о прибылях, довольствуясь простейшими милостями своего высокого покровителя: улыбкой, восторженным словом, благосклонным взглядом или простым кивком головы. Часто Сулейман запирался с Ибрагимом для ужина вдвоем, без слуг и без свидетелей, целые ночи проводили они в беседах, во взаимном восхищении, пили густые кандийские вина, поставляемые Ибрагиму верным ему Грити. Изнеможенный Сулейман засыпал, но его собеседник не смежал век. Ибрагим боялся постели. Заснешь, так, может, и навеки.

В этой земле такое часто случается. А может, где-то глубоко в памяти жило страшное воспоминание о том, как он заснул на теплых камнях и стал рабом Джафер-бега. Теперь обречен был жить как сова. И когда выпадало ему провести ночь с женщиной, то вымучивал ее, не давая уснуть ни на минутку, жестоко и неумолимо подгонял ее в утехах и ласках: «Не сплю я, так и ты не смеешь спать».

Где-то пугливо ждала первой ночи с ним новая рабыня, за которую он заплатил бешеные деньги, поддавшись неизъяснимому движению души, – он не торопился. Суть обладания женщиной не в осуществлении задуманного – суть в самом замысле, в злом наслаждении власти над выжиданием своим и той женщины, над которой ты нависаешь, как карающий меч, как судьба, как час уничтожения. Это ты выбираешь надлежащий момент и берешь женщину не просто нагую, но оголенную от всего сущего, и нет тогда с нею ни Бога, ни людей, только ее обладатель. С намного большим желанием бросил бы Ибрагим себе под ноги нечто большее, чем женщину, но пока не имел того большего, боялся даже подумать о том, ибо не влекло его ничто, кроме власти. Власть была у султана, Ибрагиму суждено было смирение, особенно невыносимое из-за того, что ходил около власти на расстоянии опасном и угрожающем. Но довольствоваться приходилось малым. Поэтому он вспомнил наконец о своей золотоволосой рабыне и велел старшему евнуху привести ее ночью в ложницу.

У изголовья помаргивал сирийский медный светильник, из медной курильницы на середине большого красного ковра вился тонкий дымок едва уловимых благоуханий. Ибрагим лежал на зеленых, как у султана, покрывалах, держал перед собой древнюю арабскую книгу, книга была толстая и тяжелая, держать без деревянной подставки да еще в постели такую тяжесть было просто нелепостью, но ему очень уж хотелось показаться перед девчонкой именно так – солидным ученым мужем, поразить ее так же, как хотел, видимо, поразить на Бедестане, назначив не торгуясь цену за нее вдвое большую, чем просил старый мошенник Синам-ага. Как ее зовут? Роксолана. Имя ей дал Луиджи Грити. Небрежно, не думая, мимоходом. Пусть будет так! Можно было бы еще назвать Рушен²⁴. Это тоже будет напоминать о ее происхождении и в то же время соответствовать османскому духу. Подталкиваемая евнухом, девушка вошла в просторную ложницу и не без удивления увидела на зеленом ложе того самого венецианца, что купил ее на Бедестане. Была вся в розовом шелку, тонком и прозрачном, но не слишком. Ибрагим повернул к ней голову, свел к переносице брови.

– Ты будешь отныне Рушен, – сказал на странном славянском, от которого Настасе захотелось смеяться.

– Разве ты турок? – забыв, зачем ее сюда привели, простодушно спросила она.

– Рушен и Роксолана, – так будешь называться, – не отвечая, строго пояснил грек.

– Ты был на базаре византийцем и походил на христианина, а выходит, ты турок? – Настася стояла у двери и удивлялась не так своей беде, как этому худощавому человеку, который даже в постели держит накрученный на голову целый стог из белого полотна.

– Подойди ближе и сбрось свою одежду, она мешает мне рассмотреть твоё тело, – велел Ибрагим. – Ты рабыня и должна делать все, что я тебе велю.

– Рабыня? Рабы должны работать, а я сплю да ем.

– Ты рабыня для утех и наслаждений.

– Для наслаждений? Каких же?

– Моих.

– Твоих? – Она засмеялась. – Не слишком ли ты хилый?

Он оскорбился. Сверкнули гневно глаза, дернулась щека. Швырнул книгу на ковер, крикнул:

– Подойди сюда!

²⁴ Рушен – сияющая, а также русская.

Она шагнула словно бы и к ложу, и в то же время в сторону.

– Еще ближе.

– А если я не хочу?

– Должна слушаться моих повелений.

– Ты же христианин? Ведь не похож на турка. Христианин?

Это было так неожиданно, что он растерялся.

– Кто тебе сказал, что я был христианином?

– И так видно. Разве не правда?

– Теперь это не имеет значения. Подойди.

– Не подойду, пока не узнаю.

– Чего тебе еще?

– Должен мне ответить.

– Ты дерзкая девчонка! Подойди!

– Нет, ты скажи мне. Слышал про тех семерых отроков, что уснули в Эфесе?

– В Эфесе? Ну, так что же?

– Они до сих пор спят?

Ибрагиму начинало уже нравиться это приключение в собственной ложнице.

– По крайней мере я не слышал, чтобы они проснулись, – сказал он, развеселившись. –

Теперь ты удовлетворена?

– А тот священник? – не отступала она.

– Какой еще священник?

– В храме Святой Софии. Когда турки с их султаном ворвались в Софию, там отправляли святую службу, все стояли на коленях и молились. На амвоне стоял священник, который вел службу. Янычар кинулся с саблей на священника и уже замахнулся разрубить его, но тот заслонился крестом, попятился к стене храма, и стена расступилась и спрятала священника. Он выйдет из нее, когда настанет конец неверным. Ты должен был бы слышать об этом.

– Никто здесь не слыхивал о таком. Это какая-то дикая выдумка.

– Почему же дикая? Это знают все почтенные люди.

Настася легко шагнула ближе к ложу, нагнулась над книгой, перевернула страницы.

– Не знаю этого письма. Какое-то странное.

– Умеешь читать?

– Почему бы не уметь? Все умею.

– Так иди ко мне.

– Не пойду. Этого не умею и не хочу. С тобой не хочу.

– Заставлю.

– Разве что мертвую.

– Ты девственница?

– Должен был бы уже увидеть.

– Но ведь ты не хочешь, чтобы я на тебя посмотрел.

На Ибрагима надвигалось необъяснимое нежелание. Думал уже не об утехах, а о том, как найти почетное для себя отступление и как вести себя с этой удивительной девчонкой дальше. Сказать по правде, Рушен как женщина ничем не привлекала Ибрагима. Женщина должна быть безмолвным орудием наслаждения, а не пускаться в высокие разглагольствования, едва ступив в ложницу.

– Ты чья дочь? – спросил он, чтобы выиграть время.

– Королевская! – засмеялась Настася, дерзко потряхнув своими пышными красноватыми волосами.

Ибрагим не понял. Или не поверил.

– Чья-чья?

- Сказала же – королевская.
- Где тебя взяли?
- В королевстве.
- Где именно, я спрашиваю.
- Уже там нет, где была.

Он посмотрел на нее внимательнее, придиричиво, недоверчиво, даже презрительно. Ничемная самозванка? Просто глупая девчонка? Но ведь и впрямь удивительная и внешностью, и нравом. И ведет себя предельно странно. Никогда еще не слышал он о рабынях, которые бы смеялись, только-только попав в рабство. Могла быть и в самом деле внебрачной королевской дочерью. Христианские властители не собирают так заботливо свои побеги, как это делают мусульмане.

Ему захотелось подумать наедине. Не знал одиночества, не имел для него времени, но порой остро ощущал в себе какую-то неизъяснимую тоску, и лишь погода открывалось: это тоска по одиночеству. Жаждем того, чего лишены.

- Ладно, – махнул он устало. – Сегодня уходи. Позову тебя потом.
- Куда же мне? – удивляя его еще больше, спросила девушка. – Опять туда – есть и спать? В ней и в самом деле было что-то не такое, как в других людях.
- А чего бы ты хотела?
- Науки.
- Может, ты забыла, кто ты?
- Рабыня. Но дорогая.
- Ты все знаешь!
- Если бы все, не хотела бы учиться.
- Тебя ведь учат петь и танцевать?

– Умею и без того. Могу спеть тебе, как меня покупали. Послушай-ка. Она уселась на ковре, свернувшись клубочком, чуть прикасаясь пальчиками к толстой арабской книге, глубоким тоскующим голосом затянула: «За самое Настасю девять тысяч. За стан гибкий десять тысяч. За белое лицо одиннадцать. За белую шею двенадцать. За синие очи да длинные ресницы тринадцать. За тонкие брови четырнадцать. За косу золотую пятнадцать...»

Вскочила на ноги, побежала к двери.

- Вот тебе песня. Хватит с тебя?
- Уходи. Дай мне время подумать.
- Она еще не верила.
- Вот так и уйти? Я ведь рабыня.
- Иди, иди. Я еще тебя позову.
- Мало радости!

Она вышла от него, смеясь, но он не хотел слышать ее смеха, хотел думать.

А о чем думать – не знал. Посоветоваться? О женщине не советуются. Против нее разве что берут свидетелей, когда женщина учинит мерзость. «А те из ваших женщин, которые совершат мерзость, – возьмите в свидетели против них четырех из вас. И если они засвидетельствуют, то держите их в домах, пока не упокоит их смерть или Аллах устроит для них путь». Был Грити, стоявший в стороне от ислама. Но с Грити не хотелось бы говорить о Роксолане, при встрече тот и так непременно подмигнет и спросит с грязной мужской откровенностью: «Ну как, по вкусу пришлась вам Роксоланочка?»

Ибрагим лежал и перебирал в памяти стихи четвертой суры Корана «Женщины». Всегда находил в этой книге утешение, особенно там, где вспоминалось его имя. Знал, что это пророк Ибрагим, коего христиане зовут Авраамом, но все равно радовался, читая: «Ведь мы даровали роду Ибрагима писание и мудрость...»

Может, и Феррох-хатун, отбирая для маленького раба своего мусульманское имя, остановилась на Ибрагиме именно затем, чтобы наполнить гордостью его дух? Ибо о его духе заботилась она рьяно и ожесточенно, отдавая тело природе, которая без чьей-либо помощи уже в четырнадцать лет сделала Ибрагима пылким и преданным любовником его доброй госпожи. Теперь она где-то утопает в безутешных слезах, а он должен найти разумный выход из тупика, в который попал, купив на Бедестане странную рабыню. «И никогда вы не в состоянии быть справедливыми между женами, хотя бы и хотели этого. Не уклоняйтесь же всем уклонением, чтобы не оставить ее точно висящей. А если вы уладите и будете богобоязненными, то поистине Аллах прощающ, милосерд!»

До утра почти не заснул. Евнуха, сунувшегося было спросить, не привести ли любимицу Ибрагима Хюму, выгнал в три шеи. Евнухи невыносимый народ. Всегда знают то, чего не следует знать никому. Расспросить Рушен не могли, она никому не станет отвечать (даже ему, к сожалению), но догадались и так, раз он отправил рабыню до времени и преждевременно. А может, как раз своевременно?

И тут он испугался: а не проявил ли он слабость, не поддался ли затаенным чарам этой чужестранки? По крайней мере должен был бы напоить ее крепким вином, и пусть бы тогда попробовала проявить свою варварскую смесь острого, как бритва, ума и чуть ли не детской наивности. Но ведь он не сделал этого. Отпустил Роксолану, не прикоснувшись к ее телу, и отпустил до времени и преждевременно. Не иначе – чары. Его надули. Он поддался наивной сказочке о высоком происхождении и о чистоте чуть ли не ангельской. Ибрагим, Ибрагим!..

Над Стамбулом нависала холодная зимняя мгла, но султан проявил желание ехать на Ок-Мейдан и стрелять из лука в тыкву. Желание падишаха священно. Ибрагим сопровождал Сулеймана, держась возле почетного правого стремени. Он был сама почтительность и предупредительность на этом почетном месте правой стороны, которая укрепляет небосвод, и потешал султана, описывая их упражнения в стиле придворных краснобаев-холуев: «Когда высокий султан, сев на коня, поспешил с августейшим кортежем в путь совершенства, почтительности и служения и, по обычаю халифов, в свободный от державных забот день прибыл на поле стрельбы по тыкве, которая уже ждала на месте прохождения его величества, чухраи и аджемы²⁵ мгновенно стали гонять тыкву, поднятую на двести гезов²⁶ над землей, и великий падишах, аки лев, сотворив себе когти из стрел и лука, стал метать в тыкву стрелы испытания, поощрения и запугивания, согласно словам: «И приготовьте для них, сколько можете, силы и отрядов конницы; ими вы устрашите...» Счастливая правая сторона украсилась присутствием главного смотрителя царских покоев и великого сокольничьего Ибрагима, который тоже метал стрелы в свою тыкву, и высокодостойные вельможи султанские, поощряя друг друга, метали стрелы счастья в тыквы, подставляемые им аджемами, но не могли сравниться все те тыквы с тыквой высокого султана, желтой, в красных и черных полосах, точно кровь от стрел и синяки от могучих ударов его величества. «Но что за тыква! Глыба наподобие дерева без ствола» или голова богатырского воина, который послушно подставил ее под каменные удары стрел. Она похожа на толстый сук самшитового дерева, это гнездо голубей, которых каменные стрелы вынуждают испуганно взлетать, или райская финиковая пальма, подставляющая себя его величеству, наместнику нашего времени».

Султан похмыкивал на Ибрагимовы шуточки и упорно вгонял стрелу за стрелой в огромную тыкву, которую бегом проносили на высоком деревянном шесте скрытые за земляной насыпью чухраи. Вслед за султанской тыквой передвигались тыквы, предназначенные для Ибрагима, для великого визиря старого Пири Мехмеда, для визирей, янычарских аг, для вельмож, подхалимов и придурков. Султанская тыква была самая большая и самая яркая, его

²⁵ Чухраи и аджемы – придворные пажи.

²⁶ Геза – мера длины.

стрелы тоже были с золотым оперением и сияли даже во мглистом воздухе, тыквы для Ибрагима и визирей были намного меньше и все белые, остальные охотники должны были довольствоваться несколькими сероватыми круглыми тыквочками, в которые вгонялось сразу по десятку с лишним злых стрел. Сулейман овладел высоким искусством лучника во время своего наместничества в Крыму, куда его еще маленьким отсылал дед – султан Баязид. И хоть османские султаны считали лук оружием трусов, отдавая всегда предпочтение мечу, Сулейман после Крыма уже никогда не мог избавиться от искушения метать стрелы то в дикого зверя, то в перелетную птицу, то в такую вот тыкву чести и умения.

Султан по своему обычаю молчал, знаками показывая «безъязыким» дильсизам, чтобы подавали стрелы или напитки промочить им с Ибрагимом горло. Ибрагим старался не отставать от Сулеймана, метко вгоняя в свою тыкву стрелу за стрелой, посмеивался над старым Пири Мехмедом, попадавшим редко, неспособным как следует натянуть тетиву, из-за чего его стрелы не долетали, бессильно падали. И вдруг чья-то чужая стрела с хищным свистом впиалась в султанскую тыкву, чуть не пронзив ее насквозь. Даже Ибрагим, помертвев лицом, поглядел на свой колчан и на ту злосчастную пришелицу, словно бы хотел удостовериться, что это не его с сине-белым оперением стрела, а воистину чужая, неведомо чья и откуда. Торчала в яркой тыкве, черная, с грязными бусинами, прицепленными к ней. Чухрай и аджемы, пораженные неслыханным святотатством, замерли в своем укрытии, тыквы покачивались на высоких шестах, словно бы им тоже передалась дрожь страха, охватившего всех придворных.

Учитель и воспитатель султана, седоголовый визирь Касим-паша, который знал Сулеймана с малолетства, ездил с ним повсюду, жил все годы в Манисе, терпеливо передавал ему все тайны придворных обычаев, теперь с некоторой встревоженностью наблюдал за Сулейманом. Сам Аллах послал это испытание молодому султану. Вот случай проявить и свою власть, и свой нрав, и свою выдержку, которой обучал Сулеймана невозмутимый Касим-паша. «Безъязыких» Сулейман привез в Стамбул тоже из Манисы. Держал своих собственных, не нуждался в дильсизах, служивших султану Селиму. Касим-паша подготовил для своего повелителя и этих молчаливых исполнителей самых неожиданных повелений, повелений тайных, безмолвных, передаваемых жестом, движением, касанием, взглядом, а то и одним вздохом султана. Моргая покрасневшими от ветра старыми своими глазами, Касим-паша удовлетворенно созерцал, как умело и незаметно отдает Сулейман приказы, как мечутся дильсизы, молча и незамедлительно выполняя его волю. Как же поведет себя султан теперь, когда неведомая рука преступно замахнулась на его высокую честь? Чужая стрела в султанской мишени все равно что чужой мужчина в Баб-ус-сааде²⁷. Кара должна быть незамедлительной и безжалостной, но и в наказании нужно соблюдать достоинство. Касим-паша не принимал участия в состязаниях, его не заставляли, над ним не насмехался даже Ибрагим, но если старый визирь не метал стрел, то обеспокоенные взгляды на своего воспитанника он метал еще чаще, чем тот стрелы, и теперь напрягся всем своим старым жилистым телом, как туго натянутая тетива.

Султан не обманул надежд своего верного воспитателя. Не вырвался у него из груди крик возмущения, ничего он не спросил, только гневно указал рукой на ту дерзкую стрелу, и дильсизы мгновенно бросились на поиски виновника и почти сразу же поставили перед султаном какого-то старого бея, закутанного в толстые рулоны ткани и мехов, в огромной круглой чалме, растерянного и одуревшего от содеянного его нетвердой рукой. Дильсизы, показав султану лицо преступника, накинули ему на голову черное покрывало, изговорясь совершить неминуемую кару, но Сулейман движением указательного пальца левой руки задержал их.

– Где кадий²⁸ Стамбула? – спросил спокойно.

²⁷ *Баб-ус-сааде* – Врата Блаженства в султанском дворце. Так назывался и султанский гарем.

²⁸ *Кадий* – мусульманский судья.

Хотел быть справедливым, руководствоваться не гневом, а законами. Не интересовался, как зовут преступника и кто он. Ибо преступник из-за своего преступления становится животным, а животное не имеет ни имени, ни положения. Только смерть может вновь сделать преступника, посягнувшего на султанскую честь и нанесшего наивысшее оскорбление падишаху, человеком, и тогда ему будет возвращено его имя, и семья сможет забрать его тело, чтобы предать земле согласно обычаю.

Кадий прибыл и поклонился султану.

– Воистину всевышний Аллах любит людей высоких помыслов и не любит низких, – тонко пропел он, поглаживая клочья седой бороды и надувая ставшие от холода сиреневыми щеки. – «Ведь Господь твой – в засаде».

После этого кадий обрисовал все коварство и тяжесть злодеяния виновного и в подтверждение привел высказывание Абу Ханифы, Малики и Несая²⁹. Не могло быть злодеяния более тяжкого, чем посягательство на честь властителя, те же, кто вгоняет стрелы в тыкву счастья его величества, теряют право на жизнь, ибо «пролил на них Господь твой бич наказания». Воистину мы принадлежали Богу и возвращаемся к нему.

Султан и все его визири признали исключительность знаний кадия, красоту его речи и убедительное построение доказательств. Сулейман показал «безъязыким» пальцем, что они должны делать, те мигом накиннули на шею несчастному черный шнурок, ухватились за концы – и вот уже человека нет, лежит труп с выпученными глазами, с прокушенным, посиневшим языком, и сам султан, Ибрагим, визири, вельможи убеждаются в его смерти, проходя мимо задушенного и внимательно всматриваясь в него. Сулейман подарил кадию султанский халат и, подобревший, сказал Ибрагиму, что хотел бы сегодня с ним поужинать.

– Я велю приготовить румелийскую дичь, – поклонился Ибрагим. Сладостей на четыре перемены.

– Сегодня холодно, – передернул плечами Сулейман, – не помешает и анатолийский кебаб.

– Не помешает, – охотно согласился Ибрагим.

– И что-нибудь зеленое. Без сладостей обойдемся. Мы не женщины.

– В самом деле, ваше величество, мы не женщины.

Впервые за день султан улыбнулся. Заметить эту улыбку под усами умел только Ибрагим.

– Мы сегодня хорошо постреляли.

– Ваше величество, воистину вы метали сегодня стрелы счастья.

– Но ты не отставал от меня!

– Опережать вас было бы преступно, отставать – позорно.

– Надеюсь, что наш великий визирь сложит газель об этом празднике стрельбы.

– Не слишком ли стар Пири Мехмед, ваше величество?

– Стар для стрельбы или для газелей? Как сказано в Коране: и голова покрылась седой...

– Мехмед-паша суфий³⁰, а суфии осуждают все утехы. Я мог бы сложить бейт³¹ для великого визиря.

– Зачем же отказываться от такого намерения? – Султан забрал поводья своего коня у чаушей³², тронулся шагом с Ок-Мейдана.

Ибрагим, держась возле его правого стремени, чуть наклонился к Сулейману, чтобы тому было лучше слышно, проскандировал ему:

²⁹ Абу Ханифа, Малика, Несай – известные авторитеты в отрасли мусульманского права – шариата.

³⁰ Суфий – мусульманский ученый, последователь одной из мусульманских сект.

³¹ Бейт – двустишие.

³² Чауш – нижний чин в армии, а также слуга.

Имеешь обычай, о суфий, осуждать вино,
отрицать флейту!
Пей вино, будь человеком,
оставь этот дурной обычай, о суфий!

– Это надо записать, – одобрительно заметил султан и пустил коня вскачь. Ибрагим скакал рядом, как его тень.

Они ужинали в покоях Мехмеда Фатиха, расписанных венецианским мастером Джентиле Беллини: белокурые женщины, зеленые деревья, гяурские строения, звери и птицы – все то, что запрещено Кораном.

Но вино пили также запрещенное Кораном, хоть и сказано: «Поят их вином запечатанным», зато с султана постепенно сходила его обычная хмурость, он становился едва ли не тем шестнадцатилетним шах-заде из Маниси, который признавался Ибрагиму в любви и уважении на всю жизнь. Хмельной верблюд легче несет свою ношу. Пили и ели много, но еще больше выбрасывали, ибо челяди вход сюда был воспрещен, убирать было некому.

– Что не съедается – выбрасывается! – небрежно сказал султан. Сегодня вечером мне все особенно вкусно. А тебе?

– Мне тоже.

Ибрагим подливал Сулейману густой мускат, а у самого не выходило из головы: «Что не съедается – выбрасывается». А он бы не выбросил никогда и ничего – был ведь сыном бедных родителей. Но здесь, возле султана, уже не съедал всего, несмотря на всю свою ненасытность. Вот и Рушен не съел. Так что же теперь – выбросить? Но куда?

Смотрел на Сулеймана, на его печально поникшую на длинной тонкой шее голову, отягченную высоченным тюбаном, пытался определить истинные свои чувства к этому человеку – и не мог. Не хотел. Кривить душой перед самим собой не привык, а признавать правду?.. Пусть будет, как было доныне. Он живет не для себя, а для темноголицего правителя. И Рушен купил, отдав бешеные деньги, удивив Грити, а потом не тронул и пальцем, когда евнух втолкнул девушку в ложницу, – не для себя, а для султана, для его царственного гарема, для Бабус-сааде в четвертом дворе дворца Топканы, за Золотыми воротами наслаждений. Что им руководило? Любовь? Жалость? Благодарность за все, что Сулейман сделал для него? Разве он знал? Действовал неосознанно, сам до поры не ведая, что творит, лишь теперь постиг и обрадовался невероятно, и захотелось рассказать султану, какой дивный дар приготовил для него, но вовремя сдержался. Была у него привычка: сдерживал свои восторги, как коня на скаку. Остановись и подумай еще! Подумал, и осенило его: валиде! Надо посоветоваться с матерью султана, валиде Хафсой, всемогущей повелительницей гарема падишаха.

После ужина Сулейман попросил почитать ему «Тасаввурат»³³, слушал, подремывая, не прерывал и не переспрашивал, а Ибрагим, не вдумываясь в то, что читал, забыв о самом султани, вертел и вертел в голове только одно слово: «Валиде, валиде, валиде!». «Я нашел женщину, которая ими правит, и даровано ей все, и у нее великий трон».

А потом вдруг вздрогнул, неведомо почему вспомнив мрачную легенду, связанную с венецианцем Джентиле Беллини, который расписывал эти покои для Мехмеда Фатиха. Художник весьма удивил султана, привезя ему в дар несколько своих работ, на которых были изображены прекрасные женщины, показавшиеся Мехмеду даже живее его одалисок из гарема. Султан не верил, что человеческая рука способна создать такие вещи. Тогда художник написал портрет самого Фатиха. Кривой, как ятаган, нос, разбойничье лицо в широкой бороде, звероватый взгляд из-под круглого тюбана, и над всем властвует цвет темной, загустевшей крови.

³³ «Тасаввурат» – «Метафизика» Аристотеля в мусульманской обработке.

Султан был в восторге от искусства венецианца. Но когда тот показал Мехмеду картину, изображающую усекновение головы Иоанна Крестителя, султан расхохотался над неосведомленностью художника.

– Эта голова слишком живая! – воскликнул он. – Не видно, что она мертвая. На отрубленной голове кожа стягивается! Она стягивается, как только голова отделена от тела. Вы, неверные, несведущи в этом!

И, чтобы не оставить никаких сомнений касательно своих знаний, тут же велел отсечь голову одному из чаушей и заставил художника смотреть на мертвую голову, пока венецианцу не стало казаться, словно он и сам умирает.

Не было ничего невозможного для Османов. Особенно в жестокости. Не назовет ли он на себя жестокости своим даром? Поступку должен предшествовать разговор. А разговор – это еще не подарок.

Хотя Ибрагим считался главным зрителем султанских покоев и хотя Баб-ус-сааде тоже был в его ведении, пройти за четвертые ворота, которые охраняли белые евнухи, без риска утратить голову не мог так же, как и любой мужчина, кроме самого султана. Евнухи не принимались во внимание, ибо евнух не может воспользоваться одалисками так же, как неграмотный книгами. Но с высоты своего положения Ибрагим видел, что творится в гареме, он должен был удовлетворять все потребности этого маленького, но всемогущего мирка; каждое утро к нему приходил главный евнух, передававший веления валиде, Высокой Колыбели, великой правительницы Хафсы, драгоценное время которой не могло растрачиваться на вещи низкие и подлые, для них и был приставлен здесь он, Ибрагим, а ее время экономно распределялось между устремлениями приблизиться к Аллаху, возвеличиванием улемов, бедных чалмошцев. Ибрагим терпеливо слушал разглагольствования черного кизляр-аги, хорошо ведая, что ее величество валиде кроме приготовления даров для мечетей и священных тюрбе, шитья драгоценных пологов, вышивок и плетения кружев большую часть своего времени тратит на сплетни, на выслушивание доносов евнухов и своих верных одалисок, на подавление раздоров, а то и настоящих бунтов, которыми так и кипит гарем, и, ясное дело, на выведывание и слежку каждого шага султана, его визирей, всех приближенных, прежде всего самого Ибрагима, хотя к нему валиде питала особую благосклонность, о чем не раз говорила открыто. И не просто благосклонность, но и любила его, как сына. О чем он тоже слышал из уст самой валиде. Из царственных уст, затмевавших красотой что-либо виденное. Не сочные, не ярко-красные, не нежные той тонкой нежностью, от которой безумствуют мужчины, а скорее строгие, темные, точно запекшиеся, словно бы затвердевшие, но очерченные с таким высоким совершенством, что ждал от них уже и не просто слов, а самой красоты. Не многим из мужчин выпало счастье видеть те уста. Ибрагим принадлежал к этим немногим.

– Передай валиде, – сказал он утром кизляр-аге, – что я просил бы ее выслушать меня.

Кизляр-ага молча поклонился.

– Иди, – снова сказал Ибрагим.

Евнух, кланяясь, попятился к двери. Был могущественнее Ибрагима, потому что держал в своих черных, страшной силы руках и весь гарем, и самого султана, но никогда не проявлял открыто своего могущества, ибо за ним стояли целые поколения таких же евнухов, которые творили свое дело тайно, набрасывая петлю, подкрадываясь сзади, а на глазах заискивающе кланялись, унижались и подхалимничали.

Человек, став на ноги и возвысившись над миром животных, сразу как бы раздвоился на часть верхнюю, где дух и мысль, и нижнюю, которую телесность тянет к земле, толкает к низменному, к первобытной грязи. Верхней служат мудрецы и боги, нижней – подхалимы. Они из человеческих отбросов самые древние. Покончить с ними невозможно. Единственный способ – снова встать на четвереньки?

Ибрагим никогда не считал себя подхалимом. Может, и полюбился он Сулейману тем, что не присоединился к толпе лакеев, окружавшей шах-заде в Манисе, а теперь, когда Сулейман стал султаном, он, Ибрагим, тоже не сломался, удержался на своей человеческой высоте, поднялся еще выше над лакеями Высокой Порты, коим тут не было числа. Валиде Хафса поначалу опасливо присматривалась к шустрому греку, остерегаясь, как бы он не навредил ее сыну. Но, обладая необходимым терпением, которое с полным правом можно было назвать целительным, она вскоре убедилась, что между юношами началось нечто вроде состязания в достоинствах, и это ей понравилось. Теперь должна была лишь следить, чтобы Ибрагим, оставаясь напарником Сулеймана, не вознамерился стать его соперником. Малейшие намеки на соперничество валиде замечала если и не сама, то благодаря ушам и глазам, предусмотрительно расставленным повсюду, и своевременно устраняла их незаметно для Сулеймана, часто и для Ибрагима.

Теперь в просьбе Ибрагима валиде заподозрила какой-то подвох, наверное поэтому несколько дней не отвечала, не то торопливо собирая о нем все возможное, не то готовясь соответственно к предстоящему разговору. Готовиться к разговору, не зная, о чем этот разговор? Странно для всех других людей, но не для валиде. Ибо если человек задумал что-то недоброе, а то и подлое, то он не выдержит, выдаст себя хоть намеком, каким-то незначительным пустяком, хотя бы в сонном бреду или в опьянении, когда они с Сулейманом запираются в гяурских покоях Фатиха, – и тогда она немедленно узнает, догадается обо всем и соответственно приготовится к отпору. Если же у Ибрагима в мыслях нет ничего дурного, напротив, он хочет доставить ей приятное, то и тогда не следует торопиться, ибо торопливость к лицу только людям низкого происхождения, ничтожным, ничего не стоящим. Величие человека в спокойствии, а спокойствие в терпеливости и медлительности. Без промедления следует расправляться только с врагами. Поднятая сабля должна падать, как ветер. Валиде Хафса происходила из рода крымских Гиреев. В ее жилах не было крови Османов. Но, вознесенная ныне до положения хранительницы добродетелей и достоинств этого царского рода, она изо всех сил пыталась вобрать в себя его многовековой дух. Гигантские просторы дышали в ее сердце, медленные, как движение караванов; ритмы песков и пустынь пульсировали в крови, прогнанные с небес большими ветрами тучи стояли в ее серых искрящихся глазах, ее резные губы увлажнялись дождями, которые падали и никак не могли упасть на землю. Империя была беспредельным простором, простор был ею, Хафсой. Странствуя по велению султанов Баязида Справедливого и Селима Грозного (ее мужа) со своим сыном то в Амасию, то в отцовский Крым, скрытый за высокими волнами сурового моря, то в Эдирне, то в Стамбул, то в Манису, а теперь, соединив и объединив все просторы здесь, в царственном Стамбуле, во дворце Топкапы, она успокоенно воссела на подушку почета и уважения, став как бы тогрой³⁴ на султанской грамоте достоинств целомудреннейших людей всего света.

Валиде позвала Ибрагима тогда, когда у него стало исчезать желание поделиться с нею своим намерением. Намерение ценно, пока оно еще не потускнело, когда оно идет от горения души и не имеет на себе ничего от холодного разума. Но откуда же было знать валиде о странном намерении Ибрагима?

Она приняла его в просторном покое у Тронного зала ночью, когда султан уже спал, а может, утешался со своей возлюбленной женой Махидевран. Лишь неширокий переход и крутые ступеньки отделяли их от того места, где находился сейчас Сулейман, и это невольно накладывало на их разговор печать недозволенности, чуть ли не греховности.

Валиде сидела на подушках вся в белых мехах, лицо ее закрывал белый яшмак, сквозь продолговатые прорези которого горели огромные, черные в полумраке глаза. Лишь один светильник, стоявший далеко в углу, освещал лицо валиде несмелыми желтоватыми лучами, но и от него она, пожалуй, хотела заслониться, ибо с появлением в покое Ибрагима подняла свою

³⁴ *Тогра* – печать, в которой зашифровано имя султана.

легкую руку так, что тень упала ей на лицо, но только на миг, валиде сразу же убрала руку, а в ней держала яшмак. Ибрагим относился к мужчинам, уже видевшим лицо валиде, поэтому она не хотела скрывать его и сегодня, и еще потому, что между ними должен был состояться разговор, а для разговора недостаточно одних глаз, тут нужны также уста, да еще если уста такие неповторимые, как у нее.

– Садись, – пригласила она, показывая Ибрагиму на подушки, которые он мог подложить под бока.

Он поздоровался и сел на расстоянии, почтительно полусклонившись в сторону, где упала в белой нежности мехов маленькая фигурка, которая, даже сидя, успокоенная, неподвижная, была как бы соткана вся из живости, подвижности, беспокойства. Остро поблескивали черно-серые глаза, то ли умело подсурьмленные, то ли в таких причудливых прорезях, маленький ровный носик, казалось, трепетал не одними только ноздрями, но всем своим четким очертанием, губы темно вырисовывались на бледном нервном лице и, казалось, говорили с тобой даже крепко сжатые. Дыхание времени еще не коснулось этого лица. Оно жило, дышало и вдохновляло каждого, кто имел счастье на него взглянуть. Станный был султан Селим – ото-слал от себя такую женщину и до самой своей смерти не хотел больше ее видеть. Может, и правду передавали шепотом друг другу гаремные стражи, будто Сулейман рожден не Хафсой, а любимой рабыней Селима, сербиянкой родом из Зворника в Боснии. А Хафса, мол, в ту самую ночь родила девочку. Разве могла она вынести, что наследник трона будет от рабыни? Сербиянку задушили евнухи еще до утра, а Сулейман стал сыном Хафсы. Было ли это так на самом деле, и узнал ли об этом Селим, и знает ли кто-нибудь наверняка? Гарем навеки хранит все свои тайны, его ворота заперты так же крепко, как крепко сжаты эти прекрасные уста, которые не хотят промолвить Ибрагиму ни слова, а первым он заговорить не смеет.

Наконец валиде решила, что молчание затянулось.

– Вы хотели со мной поговорить. О чем же? Я слушаю.

Ее манера говорить шла к ее внешности: порывистость, небрежность, слова налетают одно на другое, словно бы губы стремятся как можно быстрее вытолкнуть их на волю, чтобы снова замкнуться в молчании длительном и упорном.

В вопросе валиде Ибрагим мог учуять что угодно: недовольство тем, что ее потревожили, гнев на человека столь низкого в сравнении с ее собственным положением, обыкновенное равнодушие. Не было там только любопытства, истинного желания узнать, что же он ей скажет.

Ибрагим пытался уловить хотя бы отдаленное сходство между валиде и Сулейманом. Не находил ничего. Даже совсем чужие люди, длительное время проживая вместе, перенимают друг от друга то какой-то жест, то улыбку, то взмах брови, то какое-нибудь слово или восклицание. Тут не было ничего, либо двое напрочь чужих и враждебных друг другу людей, либо уж такие сильные личности, что не могут принять ни от кого ни достоинств, ни недостатков. Он чувствовал отчужденность валиде и понял, что она приготовилась в случае чего и к отпору, и к мести, хотя внешне была сплошная доброжелательность. «Они замыслили хитрость, и мы замыслили хитрость, а они и не знали». Женщины не читают Корана. Но женщинам можно читать Коран, приводя высказывания из него. Ибрагим как раз вовремя, чтобы его молчание не перешло в непочтительность, нашел нужные слова:

– «Кто приходит с хорошим, тому еще лучше...»

А поскольку валиде молчала, то ли не желая отвечать на слова Корана, то ли выжидая, что Ибрагим скажет дальше, добавил:

– «А кто приходит с дурным, лики тех повергнуты в огонь».

Она продолжала молчать, еще упрямее сжимала свои темные губы, бросала на Ибрагима взгляды, острые, как стрелы, обстреливала его со всех сторон быстро, умело, метко.

– «Только вы своим дарам радуетесь», – снова обратился он к спасительным словам из книги ислама.

– Так, – наконец нарушила она невыносимое свое молчание. – Подарок? Ты хочешь получить какой-то подарок? Какой же?

– Не я, ваше величество. Не для меня подарок.

Ощущал необычную скованность. Намного проще было бы тогда, ночью, сказать по-мужски Сулейману: «Приобрел редкостную рабыню. Хочу тебе подарить. Не откажешься?» Как сам Сулейман еще в Манисе подарил ему одну за другой двух одалисок, довольно откровенно расхваливая их женские достоинства.

– Для кого же? – спросила валиде, и теперь уже не было никакого отступления.

– Я хотел посоветоваться с вами, ваше величество. Мог ли бы я подарить для гарема светлейшего султана, где вы властвуете, как львица, удостоенная служения льву власти и повелений, подарить для этого убежища блаженств редкостную рабыню, которую я приобрел с этой целью у почтенного челеби, прибывшего из-за моря?

– Редкостную чем – красотой?

– Нравом своим, всем существом.

– Такие подарки – только от доверенных.

– Я пришел посоветоваться с вами, ваше величество.

Она не слушала его.

– Доверенными в делах гарема могут быть только евнухи.

Он пробормотал:

– «...а если вы еще не вошли к ним, то нет греха на вас...»

Она и дальше не слушала его. А может, делала вид, что не слушает?

Спросила вдруг:

– Почему ты захотел подарить ее султану?

– Уже сказал о ее редкостном нраве.

– Этого слишком мало.

– Ходят слухи, что она королевская дочь.

– Кто это сказал? Она сама?

– Люди, которым я верю. И ее поведение.

– Какое может быть поведение у рабыни?

– Ваше величество, это необычная рабыня!

Она была упряма в своем упорстве:

– Когда куплена рабыня?

Ибрагим смутился:

– Недавно.

– Все равно ведь я узнаю. Негоже с Бедестана вести рабыню в Баб-ус-сааде. Она должна быть должным образом подготовлена, чтобы переступить этот высокий порог.

Валиде долго молчала. Нечего было добавить и Ибрагиму. Наконец резные губы темно шевельнулись:

– Она нетронута?

– Иначе я не посмел бы, ваше величество! «И вложи руку свою за пазуху, она выйдет белой без всякого вреда...»

Валиде снова погрузилась в молчание, теперь особенно длительное и тяжелое для Ибрагима. Наконец встрепенулась и впервые за все время глянула на него лукаво, подлинно по-женски:

– Ты не справился с нею?

У Ибрагима задергалась щека.

– Уже покупая, я покупал ее для его величества! Заплатил двойную цену против той, какую запросил челебия. Бешеную цену! Никто бы не поверил, если назвать.

Она его не слушала и уже смеялась над ним.

– Тебе надо для гарема старую, опытную женщину. Иначе там никогда не будет порядка. Помощи от евнухов ты не хотел, потому что ненавидишь евнухов. Я знаю.

Помолчала – и потом неожиданно:

– Я пошлю проверить ее девственность. Ты возьмешь с собой евнухов.

– Сейчас?

– Откладывать нельзя.

– Я бы мог попросить вас, ваше величество?

– Ты уже попросил – я дала согласие.

– Кроме того. Чтобы об этом знали только мы.

– А рабыня?

– Она еще совсем девочка.

Валиде строптиво вскинула голову. Пожалела о своей несдержанности, но уже не поправишь. Может, вспомнила, что и ее привезли в гарем шах-заде Селима тоже девочкой. До сих пор еще не была похожей на мать султана Сулеймана. Скорее старшая сестра. Всего лишь шестнадцать лет между матерью и сыном. В сорок два года она уже валиде.

Память начинается в человеке намного раньше всех радостей и несчастий, которые суждено ему пережить.

Она встала. Была такого же роста и так же тонка и изящна, как Рушен. Ибрагим почему-то подумал, что они должны понравиться друг другу. Поклонился валиде, проводил ее до перехода в святая святых.

Волочить за собой евнухов было противно, но доверить это дело никому не посмел. Молча проехал со своей свитой сквозь ворота янычар, мимо темной громады Айя-Софии, мимо обелисков ипподрома. Дома прогнал слуг, свел евнухов валиде со своими, пошел от них на мужскую половину, ждал пронзительного девичьего крика, стонов, рыданий, но наверху царил тишина, и он не вытерпел, пошел туда. Черные евнухи с одеждой Рушен в руках ошалело гонялись за ней по тесной полутемной комнате, а девушка, встряхивая своими небрежно распущенными волосами, изгибаясь спиной и бедрами, убегала от них, из груди ее вырывался не то смех, не то всхлип, глаза пылали зеленым огнем, точно хотели испепелить нечестивцев, ноздри трепетали в изнеможении и отчаянье. Увидев Ибрагима, Рушен показала на него пальцем, затряслась в нервном смехе.

– И этот пришел! Чего пришел?

– Посмотреть на тебя в последний раз! – спокойно сказал Ибрагим.

– В первый!

– Да. Но и в последний!

– Так гляди. Те уже глядели! Искали во мне. Чего они искали? Вели теперь удушить меня, как это у вас водится.

– Не угадала. Пришли взять тебя в подарок.

– Подарок? Разве я неживая?

– Имей терпение дослушать. Хочу тебе большого счастья.

– Счастья? Здесь?

– Не здесь. Поэтому и дарю тебя самому султану. В гарем падишаха.

– В гарем султана? Ха-ха-ха! Тогда зачем же раздевал?

– Посмотреть на твое тело.

– А что скажет султан?

– Должна молчать об этом. А теперь прощай. И оденься.

Он отвернулся и направился к ступенькам.

«И порядочные женщины благоговейны, сохраняют тайное в том, что хранит Аллах».

Книга

Человеку заповедано (и не наяву, а во сне, чтобы имело вид пророчества): читай! Не ведая, что, не зная, как, и где, и каким способом, – читай! Предназначение твое на земле и в мире: читай!

Читай на земле следы живые и мертвые, на камне и на песке, в листве деревьев и в травах, в солнечном мареве и в дождевой мгле, в течении рек, в глазах детей и женщин, в беге оленя, в прыжке льва, в пении птиц, в полыхании огня, в бесконечных просторах неба – читай!

Огненные литеры выжжены в твоём сердце и в мозгу, выйдут из сердца и мозга, засияют ярче всех самоцветов земли, запыхают ярче всех огней небесных – читай!

В книге будет о женщине и трапезе, о животных, среди которых тебе жить, о добыче и раскаянии, о громах небесных и темных ночах, о свете и пчеле, о преградах и вере, о мурашке и поколении, об ангелах и поэтах, о садах и дымах над костром, о вечных песках и победах на болотах, о горах и звездах над шатром, о луне, и железе, и охоте к приумножению, и вознесению, и падению, и страсти, и смерти неминуемой, и: «Знайте, что жизнь ближайшая – забава и игра, и красование и похвальба среди вас, и состязание во множестве имущества и детей, наподобие дождя, растение, от которого приводит в восторг неверных; потом оно увядает, и ты видишь его пожелтевшим, потом бывает оно соломой, а в последней – сильнее наказание и прощение от Аллаха, и благоволение, а жизнь ближняя – только пользование обманчивое».

Ученые хаджи читали Коран у султанских гробниц, поставленных на холмах Стамбула, где когда-то стояли византийские храмы.

Венецианские баилы – послы – собирали по городу сплетни, чтобы потом пересказывать их всей Европе.

Мудрый Кемаль-паша-заде вел дневник нового султана Сулеймана.

Кемаль-паша-заде пересказал для покойного султана «Гулистан» великого Саади. Написал поэму о любви Юсуфа и Зулейки, сделал множество толкований Корана и шариатского права – меджелле. Приставленный к Сулейману еще в Манисе, он поехал за новым султаном в Стамбул и сопровождал его во всех походах, тщательно записывая все хорошее и дурное, так что султан даже не выдержал и спросил у своего ближайшего славотворца, не заносит ли он в дневник также о султанских женах и детях.

– Ваше величество, – ответил Кемаль-паша-заде, – нужно, чтобы в вашей истории было хоть что-то человеческое, иначе в нее никто не поверит.

Первая запись о том, как Сулейман узнал, что стал султаном:

«Выражение сомнения и подозрительности через мгновение угасло от острого сияния царевичева взгляда. Его выпуклое чело наморщилось и нависло над орлиным носом; уста, тонкие и немилостивые, сами собой растянулись под длинными усами, как бы прикрывая предчувствие зла; по лицу цвета темной бронзы промелькнуло темное облачко; принц, который своею честностью и умением держать слово опровергал распространенное мнение о турецком вероломстве, никак не мог поверить в принесенную Ферхад-пашой весть, что умер султан, прозванный Несокрушимым».

Сулейман

В тот день, когда стал султаном, он почувствовал, что отныне время принадлежит ему. В определенных границах, конечно, пока время существует для него, то есть пока он сам жив. Но в этих пределах оно принадлежит ему безраздельно.

При рождении время не благоприятствовало Сулейману. Родился в совершенной безнадёжности. Его отец Селим был самым младшим сыном султана Баязида, а из-за своего задиристого нрава еще и самым нелюбимым. После смерти Баязида власть должна была перейти если не к старшему сыну Коркуду, то к его брату Ахмеду, наиболее дорогому султанову сердцу. А при переходе власти в руки наследника все мужское поколение Османов, кроме семьи нового султана, безжалостно уничтожалось. Так завещал завоеватель Царьграда Мехмед Фатих, Сулейманов прадед: «Для всеобщего благополучия каждый из моих славных сыновей или внуков может истребить всех своих братьев». Первым должен был выполнить этот нечеловеческий завет сын Мехмеда Баязид. Но его брат Джем, которого он хотел задушить, выступил против него войной, домогаясь султанского трона для себя, когда же это ему не удалось, попросил убежища у рыцарей на Родосе, а они переправили Джема во Францию, откуда он попал к папе римскому и уже там умер таинственной смертью, может даже и отравленный по настоянию Баязида, который много лет выплачивал всем, кто держал у себя в почетном плену Джема, невероятные деньги.

Точно так же обречен был и младший сын Баязида, Селим, обреченным должен был чувствовать себя уже от рождения и Сулейман. Может, это наложило отпечаток на всю его жизнь: был мрачен, задумчив, к людям относился с недоверием, не любил болтунов, задавак, преклонялся только перед мудростью и уже с детства погрузился в изучение законов, словно бы хотел этим спастись от видимой несправедливости и жестокости жизни, ибо у человечества ведь нет иной справедливости, кроме той, что записана в законах.

Его отец Селим, напротив, возлагал надежды не на безликую справедливость, а на силу. Он понимал, какая угроза нависает над ним, но не впадал в отчаяние, был убежден, что истинным преемником султанского трона должен быть именно он, а не его братья. Самый старший, Коркуд, не мог расстаться с их семейным гнездом, далекой Амасией, окружил себя там поэтами, мудрецами, бесполезными книгоедами, сам сочинял стихи, его рука умела держать лишь перо, а не меч – человек пропащий для власти навеки. Средний брат Ахмед, хоть и сидел под боком у старого султана и считался надеждой Турции, тоже больше интересовался книгами, мудростью и справедливостью, нежели мечом, его любил простой люд, но что такое простой люд там, где речь идет о власти! Зато Селим сумел стать любимцем янычарских орт, и когда янычарские аги, обеспокоенные тем, что султан Баязид, подорвав здоровье разными излишествами, решил искать успокоения в опиуме, стали добиваться, чтобы Селим был возвращен в Стамбул, Ахмед подсказал султану, чтобы тот отослал брата в далекий Трабзон. Но впоследствии оказалось, что из-за недосмотра рядом с отцом – наместником в санджаке³⁵ Боли, соседнем с Трабзоном, был сын Селима Сулейман. Чтобы не допустить их объединения против Стамбула, султан и послал внука наместником в Кафу – в Крым. Там, за холодными волнами моря, шестнадцатилетний Сулейман должен был преисполниться еще большей безнадёжности касательно своего будущего. Но с ним была его мать Хафса, дочь крымского хана Менгли-Гирея. Она выпросила у своего отца подмогу для Селима, татарские всадники, переправленные через море, ударили с Селимом на Стамбул, поддержанные там янычарами, принудили к бегству Ахмеда, и султан Баязид, старый, изнуренный недугами, никчемный, должен был уступить власть самому младшему сыну. Через месяц, отравленный по приказу сына, он умер

³⁵ Санджак – область.

на пути из Стамбула в Эдирне, в местечке Чорлу (через восемь лет на том самом месте умрет Селим). Селим велел привести пятерых сыновей своих ранее умерших братьев и задушить в сарае, у себя на глазах. Так же был задушен брат Коркуд, который попытался убежать, но был пойман и отдан в руки палачей. Брат Ахмед собрал войско и выступил против Селима, но в бою под Енишехиром был разбит, захвачен в плен, приведен вместе со своими сыновьями в шатер султана, и там в присутствии Селима все они были задушены.

Астролог, приглашенный сказать султану о его будущем, предрек, что, когда Селим умрет, на его теле будет столько кровавых знаков, сколько убил он своих братьев и племянников. «Зато приятнее властвовать, не боясь притязаний своих близких», – ответил Селим и велел задушить астролога. За первые три года своего владычества Селим удвоил империю. Жил в походах, в битвах, среди жестокостей, крови и страданий, ел и спал со своими воинами. Тешили его взор кровавые пожары, слух наслаждали стоны умирающих, он получал высокое удовольствие от созерцания того, как его янычары грабят персидские и армянские города, Дамаск, Александрию и Каир, хотя сам был равнодушен к богатству и роскоши, ел простой деревянной ложкой, не терпел изысканных кушаний, нежного мяса, был равнодушен и к женщинам. Единственно, что он любил, кроме войны и кровопролития, – это грубые воинские песни и темные исламские мудрствования. Как ни странно, любил поэтов, сам сочинял стихи, написал целый диван³⁶ – когда и как? Его звали Грозным, Жестоким, Страшным, Несокрушимым. Все это объединялось коротким, хлестким словом – Явуз. Не произвел на свет больше ни единого сына, не оставил по себе ни одной любимой жены, которая бы стала соперницей Хафсы, за восемь лет убил семь своих великих визирей, перед смертью силой поставив на этот пост старого мудреца и поэта Пири Мехмед-пашу, чуждого распрям и борьбе за власть, полностью преданного тихой мудрости и высокой поэзии. В народе даже родилась поговорка: «А чтоб тебе быть визирем у султана Селима!»

Такое наследство получил Сулейман. Не было соперников, границы империи раздвинуты до пределов необозримых, все запугано и покорено, повсюду господствует сила, о справедливости забыто.

Оставил ли Селим какое-нибудь завещание своему сыну? Не держал сына возле себя, не приближал, упорно отсылал то в Румелию, то в Анатолию, всякий раз отсылая вместе с ним и мать его Хафсу, целых два десятка лет, до самой смерти своей, не подпускал ее к себе, равнодушный к ее привлекательности и красоте. Ведь что для него была красота в сравнении с великими державными делами!

Жил между небом и адом, освоил власть и смерть, породнил их в своем преступном величии. Ибо если низкое происхождение толкает человека к подлостям мизерным, то величие – к злу великому. Ведь сказано: «Держись же того, что тебе ниспослано!»

Чего мог ждать мир от сына такого человека?

Уже при вступлении на престол Сулейман был назван лстивыми мудрецами, которые всегда состязаются в получении почестей от новой власти, Сахиб Киран – Повелитель Века, тот, в ком наилучшим образом и с наибольшим успехом сбудется число *десять*. Число же десять считается совершеннейшим в мусульманском мире, ибо этим числом завершаются циклы счета: десять пальцев на руках и ногах у человека, человек имеет десять чувств – пять внешних и пять внутренних. Коран делится на десять книг, в каждой из которых по десять сур. У Магомета было десять учеников. Войско делится по принципу десятков, сотен и тысяч. Насчитывается десять астрономических циклов, и десять гениев разума, согласно с древнейшими восточными символами, владеют теми циклами. «Божье провидение определило, что Сулейман будет рожден в первый год десятого века, по хиджре (901 год) и взойдет на пре-

³⁶ Диван – здесь сборник стихов.

стол как десятый властитель из династии Османов», – писал ученый раввин из Солуня Моисей Алмозино.

Венецианский баило доносил своему сенату о новом султани: «Он истинный турок, в наивысшей мере чтит закон, снисходителен к христианам, плохо относится к евреям, приумножает знания и все делает сознательно, упрям в своих намерениях. Ему двадцать шесть лет, от природы живой, раздражительный, лицом смугл, тюрбан носит надвинутым на глаза, что придает ему хмурый вид».

Тюрбан был замечен едва ли не прежде всего другого. У Селима тюрбан был круглый, как большой мяч, над ним высоко торчало острое шапки, пышное павлинье перо поддерживалось огромным изумрудом, любимым камнем султана. Селим носил тюрбан чуть ли не на макушке, намотанным кое-как, даже слегка сдвинутым набекрень, оголяя лоб, словно янычар-забияка.

У Сулеймана тюрбан был намотан до самого верха шапки, белоснежная ткань ложилась ровно, тщательно, образуя изысканное сооружение, величественное и тяжелое, напоздавшее на самые брови. Говаривали, что султан прикрывает им свою вечную раздвоенность, неуверенность, колебания перед принятием решений, внутреннюю муку, не дававшую ему ни подбодрить кого-либо как следует, ни напугать, как полагалось бы в его положении правителя. Но ведь был, наверное, и решителен по-своему, если уже с первых своих шагов в Стамбуле дал понять, что не станет смешивать силу со справедливостью, а разделит их без малейших сомнений и выжиданий. Два павлиньих пера на своем тюрбане украсил крупными рубинами, опять-таки подчеркивая, что не разделяет вкусов своего отца. Селимов изумруд был положен в сокровищницу султанского серая. Держался Сулейман холодно, был молчалив, словно бы равнодушный или сонный. Колебался или чего-то выжидал? Провинции беспредельной его империи склонились перед новым султаном. Лишь сирийский наместник Джамберди Газали поднял бунт и провозгласил себя султаном. Газали, прозванный Славянином, оказал помощь покойному Селиму во время похода на Египет. Тогда он переметнулся от мамелюков к Османам, теперь же поднял восстание против нового султана с намерением сбросить с Сирии османское иго. Начал с того, что перебил в Дамаске пять тысяч янычар, потом с пятнадцатью тысячами всадников и тысячью аркебузников пошел на Стамбул. Неопытный в военном деле Сулейман растерялся и даже струсил. Вынужден был послать против Газали своего зятя Ферхад-пашу, хотя, по обычаю своих предков, должен был сам повести войско, чтобы покарать изменника. Ферхад-паша в конце января 1521 года разбил Газали под Дамаском. Бунтовщик, переодетый дервишем, попытался бежать, но был пойман, приведен к султанскому сераскеру³⁷, где его уже ждал карающий меч. Ферхад-паша привез Сулейману голову Джамберди Газали, и радость нового султана была так велика, что он сразу решил было послать эту голову, как подтверждение своего непоколебимого могущества, в дар венецианскому дожу Лоредано. Баило Пресветлой Республики в Царьграде Марко Мини насилу отговорил молодого султана от столь варварского поступка. Сулейман спохватился и после того замкнулся в себе еще больше. Знал: мир следит за каждым его жестом, прислушивается к каждому слову, слетавшему с его уст. В этом радость, но и ужас власти.

Все же постепенно привыкал к власти. Не позволял между тем себе никаких излишеств, никакой пышности. Советовался с визирями, ходил в мечеть, время от времени упражнялся в стрельбе из лука, почти ежедневно бывал в султанских конюшнях – эту привычку приобрел еще в юности. Еще в Крыму научился сноровисто подковывать коней, любил зайти в конюшню и заработать аспру, которая, как сам говорил, «не загрязнена была потом и кровью райи»³⁸. Из придворных ближе всех допускал к себе Ибрагима, почитал великого визиря Пири Мехмед-пашу, своего воспитателя Касим-пашу и летописца, мудрого Кемаль-пашу-заде. Его харак-

³⁷ *Сераскер* – главнокомандующий.

³⁸ *Райя* – христианское феодально-зависимое население в Турецкой империи.

тера до конца, пожалуй, не знал никто, даже самый приближенный к нему Ибрагим; на вопрос Грити, как относится султан к женщинам, Ибрагим лишь пожал плечами.

– Не могу сказать. Пожалуй, он равнодушен к ним. Он не пренебрегает гаремом, но и не поддается чарам своих рабынь. Кажется, валиде Хафса была этим весьма обеспокоена, побаиваясь, чтобы сын не пошел в своего отца и не порвал с женским миром насовсем. По матери она черкешенка, поэтому вознамерилась разбудить в сыне мужчину, подыскав для него достойную жену из своего племени. Женщине почти всегда удается добиться задуманного. Последние три года Сулейман постепенно становился рабом гарема. Ибо там появилась Махидевран.

– Я слышал это имя, – поглаживая бороду, сказал Грити с видом человека, для которого не существует тайн. – Слышал еще тогда, когда она была в Манисе. Я купец, а купец должен покупать также и вести обо всем, что происходит вокруг. Особенно вести высокие. О Махидевран могут заговорить повсюду еще больше, чем о самом Сулеймане. Не так ли, Ибрагим?

Ибрагим молча усмехнулся. В глубине души считая себя умнейшим из людей, с которыми он сталкивался, он не любил провидцев, а еще знал наверное: купить можно действительно все, даже наибольшие тайны, но купить знание грядущего еще никому не удавалось и не удастся никогда.

– Посмотрим, – уклончиво ответил он. – Сулейман только что сел на престоле Османов.

– Но ведь вы знаете султана как никто! – воскликнул Грити.

– Я не знаю даже собственных снов, – жестко ответил грек и повторил: – Даже собственных снов.

Махидевран

Пожалуй, знала до конца своего сына лишь валиде Хафса. Знание это досталось ей горько. Посвятила Сулейману всю жизнь, потемнела устами от многолетнего презрения, которое претерпевала от султана Селима, заведшего, по примеру деда своего Мехмеда Фатиха, целый гарем из миловидных юношей, отдала все силы души на служение единственному сыну, выстраивала здание его жизни упорно и заботливо. Не было обычной любви между матерью и сыном, объединяла их неизбежность, может, страх или даже ненависть, но разъединиться уже не могли: слишком боялись друг друга, слишком много лежало между ними тайн, которых не должен был знать мир.

Женщины не относились к тайнам, недоступными тоже не были для султанского внука, а впоследствии сына. Как только у Сулеймана начали пробиваться усы, он получил свой гарем, не пошевелив ради этого и пальцем. Сказано же: «...женитесь на тех, что приятны вам, женщинах – двух, и трех, и четырех. А если боитесь, что не будете справедливы, то – на одной или на тех, которыми овладели ваши десницы».

Смолоду приученный к распутству, Сулейман, однако, не бросился в него алчно и исступленно, но и не пренебрегал женщинами, как его отец. Он мечтал и тосковал о переживаниях более чистых, утонченных и благородных; надоедливых, тупых женщин-девочек, роскошных глупых одалисок было у него предостаточно, хотел теперь рядом с собой видеть женщину красивую и гордую, привлекательную и мудрую не только одним телом, но и сердцем, женщину, которая могла бы понять его и быть равной ему всюду и всюду сделать счастливым: за трапезой и в беседе, в постели и в державных делах, которые были предначертаны ему в будущем неминуемо.

Искать такую женщину не мог и не умел. Султаны и их сыновья не ищут жен. Это делают за них другие. Часто все решает простой случай. Валиде Хафса не могла полагаться на случай. Помог ей, как это ни невероятно, сам султан Селим. В неудержимой жажде завоевательства он замахнулся на землю, размерами равную его империи, а богатством и могуществом намного ее превышавшую, – на Египет. В Египте вот уже чуть ли не целых сто лет господствовали мамелюки из родного Хафсе племени черкесов. Прежние бедные наемники-воины с далекого Кавказа захватили власть в этой великой державе и распространили ее на все близлежащие земли со святынями мусульманскими и христианскими – Меккой и Иерусалимом. Селим, раззадоренный легкой победой над персидским шахом, повел своих янычар на мамелюцкого султана Кансуха ал-Гурия. Перед боем под Халобом султан сказал своим воинам: «Если нам суждено погибнуть – наше царство небесное; если же победим врага, нашим будет царство земное». Преданный наместником Халеба Хаир-бегом, восьмидесятилетний султан Кансух ал-Гурия был разгромлен под Халобом, а нового мамелюцкого султана Туман-бея предал его воевода Джамберди Газали. Селим щедро вознаграждал предателей: Хаир-бега посадил наместником в Египте, а Джамберди Газали – в Дамаске, отдав ему всю Сирию. Селимов великий визирь Юнус-паша сказал султану: «Половина исламского войска погибла в боях и осталась в песчаных пустынях, и единственная польза от этого та, что Египет перешел во власть своих предателей». Селим велел задушить визиря за такие слова. Воспользовалась же разгромом мамелюцких султанов Египта совершенно неожиданно валиде Хафса. Как только она узнала о первой победе Селима под Халобом и о смерти Кансуха ал-Гурия, немедленно снарядила своих доверенных гонцов на далекий Кавказ, к своему племени, и велела передать старшинам: «Чего вы еще ждете в своих горах? Всемогущественный султан побил черкесских мамелюков, вскорости придет со своим исламским войском и на Кавказ. Шлите его сыну лучшую из своих девушек, так же непревзойденную красотой и достоинствами, как непревзойдена сила султанского войска».

Гонцы ездили долго, поскольку дорога из Манисы далекая, тяжелая и полна опасностей: пустыни, горные цепи, бурное море и еще горы, чужие, суровые, дико-неприступные. Как отыскать там маленькое племя черкесов, как до него достигнуть и приступить? Когда же вернулись, были с ними три брата-черкеса, привезшие завернутый в огромную мохнатую бурку живой дар. Духом далеких ветров, ночных костров, крепкой конской силы било от братьев и от того спрятанного в черной бурке дара, и валиде, хотя никогда не знала духа черкесского племени, хищно раздула ноздри – в женщине голос крови звучит и на расстоянии поколений.

Где та Маниса и что Маниса, а вот ведь донесся из нее голос султанской жены до неприступного каменного Кавказа, услышали его благородные черкесы, и хоть никому никогда не покорялись, столетиями вели жизнь дикую и кровавую, но услышали в этом голосе нечто, может, и близкое, мгновенно откликнулись и послали неведомому шах-заде, сидевшему в еще более неведомой Манисе, драгоценнейшую жемчужину своего племени.

Только один большой черный глаз увидела валиде Хафса в косматости бурки – скользнул по ней с холодным равнодушием, а ее ударило в самое сердце тем взглядом, почувствовала, как проснулась в ней кровь диких предков, вскипела и заиграла, как в танце кафенир, во время которого черкесы делают признания в любви единственно дозволенным у них способом стрельбой перед избранницей.

Братья, гортанно перекликаясь, ловко размотали бурку, вытряхнули из нее одетую в узкий шелковый бешмет глазастую тоненькую черкешенку, такую нежную, как лепесток розы, зацветающей по весне, когда еще не вялит и не обжигает зной, и валиде, хоть и была приучена к жестокой османской сдержанности, не удержалась, воскликнула:

– Гюльбахар!

Гюльбахар означало – весенняя роза. Может, женщин всегда следовало бы называть именами цветов, но эту девушку иначе никто бы и не назвал. Так и стала она с той первой минуты Весенней Розой – Гюльбахар.

Не дожидаясь, пока девушку вымоют и натрут благовониями, чтобы прогнать с нее дух просторов, принесенный из длительного путешествия, оденут в гаремные шелка и научат хотя бы турецкому приветствию, валиде показала Гюльбахар Сулейману. Побавивалась, что девушка смутится, растеряется и покажется ее ученому сыну слишком дикой, но смутился и растерялся Сулейман – так гордо повела себя с ним юная черкешенка, так холодно взглянула на него своими умными большими глазами, на дне которых залегла незамутненная, но уже неистовая чувственность.

У Гюльбахар не было выбора. Была привезена сюда для утех этому высокому понурому султанскому сыну, ею гордое ее племя кланялось будущему султану, была брошена в бурную горную речку в надежде, что выберется на берег без чьей-либо помощи, послана в пасть львенку с верой в то, что не даст себя проглотить, а станет такой же хищной львицей, должна была повести себя здесь с достоинством, не чувствуя себя жертвой, поразить своего повелителя не одной лишь красотой и нетронутостью, но и врожденным умом, богатством души, которого если и не имела достаточно, то должна была обрести быстро, умело и незаметно. Знала для этого единственный способ: гордость, прикрываясь которой можно достичь всего на свете.

Она стала султаншей прежде, чем Сулейман султаном. Такая царственная походка была у нее, такой взгляд, голос. Валиде едва сдерживала дрожь, пронзавшую все ее тело. Кровь ее предков, ее собственная кровь пробудилась в этой гибкой девушке, в ее бархатных очах, в острых, твердых персях, в крепких бедрах, в розовых пальчиках смуглых ног, которые черкешенка с удовольствием показывала всем в гареме, расхаживая босиком, в широких шелковых шароварах и в длинных прозрачных сорочках с широкими рукавами. Смуглое тело проглядывало сквозь тонкую ткань черкесской сорочки так сладко, что Сулейман напрочь забыл о своей сдержанности и настороженности ко всему, что так или иначе посягало на его собственную свободу, он не мог оторваться от Гюльбахар, забыл даже о своем любимце Ибрагиме, о ночных

бдениях с мудрыми знатоками законов и сладкоречивыми поэтами, об охоте и конных скачках, о стрельбе из лука и подковывании коней.

Женщина, присланная для любви, должна любить. А если любит горячо и верно, должна рожать сыновей. Каждая одалиска хотела бы родить сына для шах-заде, чтобы самой стать законной женой – кадуной, а там и султаншей. Но семя Османов падает лишь в избранное лоно! Чего не смогли рабыни-одалиски, то совершила вольная черкешенка. За год родила Сулейману сына Мехмеда, потом еще одного сына, названного Мустафой, затем третьего Мурада. После второго ребенка из тоненькой, хрупкой, почти прозрачной девушки Гюльбахар неожиданно превратилась в полную, округлую, мягкую гаремную любимицу, но не утратила очарования для Сулеймана, продолжала рожать ему детей, и когда, уже будучи султаном, нетерпеливо ждал из Манисы свой гарем в столицу, она была в близком ожидании четвертого ребенка – и это за неполных четыре года!

И теперь почти никто не вспоминал ее нежного имени Гюльбахар, а называли по-новому, соответственно положению, которое заняла при дворе, Махидевран, то есть Госпожа Века.

Прибыла в Стамбул полновластной султаншей, уже не было у нее в памяти ничего о далеком своем и, собственно, нищем роде, ибо дала начало пышному роду султанскому, не знала она, что может значить ум для нее, ибо могла заменить его всемогущественной державой; не заботилась о душе, имея безраздельную власть; была чужда милосердию, озабочена только раздачей повелений. Ходила по гарему низенькая, толстая, почти квадратная, увешанная драгоценностями, вся в золоте и самоцветах, бугрившихся на ее округлостях, точно острые камни на утопанной горной дороге. Походка ее была царственной. Незаметно отдавала служанкам самые неожиданные повеления: подать чашу с напитком, поправить одежду, положить подушку под ноги, погладить волосы, почесать за ухом, ласково пощекотать пятки.

И это должна была увидеть Настася, которая была приведена сюда ночью, черными, как ночь, евнухами, – они затолкали ее в какую-то длинную и неприветливую комнату, где впопалку спало с десятков, а то и больше растрепанных и злых (это проявилось утром) гаремных наложниц, а теперь выпустили в общие покои, где лениво слонялись молодые, небрежно одетые одалиски и где уже с утра царила эта толстая султанша. Если бы Настася не увидела Махидевран собственными глазами, она бы никогда не поверила, что на свете может существовать такая женщина. Но, удивившись и даже испугавшись поначалу, Настася, какой несчастной и униженной ни чувствовала она себя в то утро, дерзко поклялась в душе: «Научусь еще получше!»

Одалиска-сербиянка сказала Настасе, что у Махидевран здесь семьдесят служанок.

– А у меня будет сто семьдесят, а то и больше! – засмеялась Настася.

Махидевран мгновенно отметила этот не свойственный гарему смех, но не поинтересовалась новой рабыней. Да и зачем? Разве выпросить ее у валиде для самых унижительных прислуживаний? Но даже этого не позволила себе Махидевран. Ибо заметить – значит унижить себя, свою султанскую гордость, которая не имела ничего общего с прежней гордостью девушки из дикого горного племени, а стала высокомерием и важностью.

Так бедной Настасе суждено было столкнуться с чванливой черкешенкой, прежде чем увидела она повелительницу гарема валиде Хафсу и высочайшего властителя всех этих заблудших душ – султана Сулеймана. Пока не видела их, не верила до конца в то, что с нею случилось. Чванливая Махидевран даже развеселила девушку, и Настася еще долго, не в силах сдержаться, смеялась при воспоминании о черкешенке, и удивленные одалиски, ждавшие от новенькой вздохов, слез и отчаянья, а не веселья, назвали ее уже в тот первый день Хуррем – веселая, смеющаяся.

С этим именем она должна была вскоре предстать перед всемогущей валиде. Слово *Хуррем* еще не предвещало беды никому: ни валиде Хафсе, ни султанским сестрам, ни жилистому старшему евнуху, чернокожему кизляр-аге, ни всемогущественной Махидевран. А между тем

скрывалась в нем угроза, как во всем необычном, ибо необычное ломает установленный порядок, а это неизбежно влечет за собой несчастья для кого-то, особенно для женщин, которые всю свою жизнь тратят на отчаяннейшие усилия навести хоть какой-то порядок в той смеси хаоса и случайностей, из которых и состоит, в сущности, жизнь, если на нее взглянуть глазом непредвзятым и немужским.

Хуррем

Только попав за двойные, окованные железом двери султанского гарема, поняла Настася, какую возможность она потеряла на море, поняла и пожалела. Броситься бы с кадриги в разбушевавшиеся воды, понесло бы да понесло ее, как щепку, как того дельфинчика, подстреленного безжалостным Синам-агой, и не было бы ни позора, ни мук, ни неволи. Вспоминалась Марунька Голодова из Рогатина, обещенная гусаром. Зимой пропала, не могли найти, а по весне, когда взломало лед на пруду у мельницы Подгородского, всплыла она в водяной пене, и долго еще Настасе становилось жутко от одного воспоминания про Маруньку, слишком болела душа, когда думала, как страшно было Маруньке бросаться в прорубь, как рвалась, наверное, из-подо льда и умирала, задыхаясь, – ни крика, ни жалобы, ни последнего рыдания. А теперь, может, и завидовала Маруньке!

Брошена была ночью за двойные, окованные железом двери, гремели тяжелые засовы на тех дверях. Будто в церковной ризнице или в богатых подвалах на Рогатинском рынке. Заснула только под утро на часок, попробовала побродить по дебрям гарема и ужаснулась. Целый мир! Запутанный, бесконечный, разделенный, монотонный и страшный в своей безвыходности. Длиннющий мабейн – коридор, освещенный окнами с крыши, по обе стороны множество комнат, в одной из которых ночевала и она вместе с десятком таких же девушек. Дальше – помещение для служанок. Может, и она служанка, кто ж это знает? Гарем расплзался не только по земле – он поднимался и выше, к султанским покоям, к покоям валиде и султанских жен и любимиц, евнухи не пускали туда никого постороннего, но Настася проскользнула вслед за водоносами – и там увидела уже в первое свое гаремное утро Махидевран, ужаснулась ее власти, сердце сжалось еще сильнее от отчаяния, но в то же время душа ее востребовалась и захотелось жить, как никогда!

Ее повели купаться, какие-то престарелые ведьмы ощупывали каждую ее косточку, выщипывали каждый волосок на теле, она плескалась в теплой воде, брызгала на ведьм, они бормотали что-то по-турецки и немножко по-славянски – в гареме смешались языки турецкий и славянский, тут сошлись два мира, враждебных, чужих, непримиримых, но нужно было находить взаимопонимание хотя бы словами, ибо приходилось жить даже в ненависти и безнадёжности.

Настася плескалась в воде, напевала: «Ой, на горі ставочок, на ставочку млиночок, а в млиночку млинярка, мала ж вона три доньки. Одну дала до татар, другу дала до турок, третью дала до волох. Котру дала до татар, то тій дала весь товар, котру дала до турок, то тій дала сто курок, котру дала до волох, то тій дала сито блох». Может, когда уже нет не только собственной сорочки на теле, но и надежд, то тогда ты беззаботнейший человек на свете. В детстве часто сдуру хотела умереть от малейшей обиды. Теперь, когда у нее не было ничего, даже самой возможности жить, жить неистово хотелось. Все люди, пожалуй, живут тем, что ждут: что-то должно произойти, какое-то событие, какая-то перемена, перелом в жизни, счастье, чудо. И ради этого можно вытерпеть все: голод, холод, унижения, позор, бедность, несправедливость, тоску. А неволю?

Жирный евнух просунулся в купальню, остановился у дверей, пялил буркалы на голую Настасю в потоках воды, слушал ее припевочки – удивлялся или возмущался? Пусть!

Душа в ней умерла, тело живет, хочет жить. Утренняя заря встает где-то над лесами, звери выходят на водопой, на охоту, и она тоже зверь, тоже хищник кровожадный! Уничтожено все вокруг нее, уничтожено все в ней, а она – живая и невредимая! Это ли не чудо! И мир вокруг теплый, как эта вода, большой, цветистый, как те дивные гаремные покои наверху, все в золоте, в каменной резьбе и таинственной красоте. Не принимать ничего близко к сердцу,

не ждать милосердия, жить как эти людоловы, разбойники, звери, хищники! Стерпеть все, пожертвовать всем, но только не телом! Нет тела – нет тебя.

Если бы ей сказал кто-нибудь в Рогатине, что ее продадут раз, и другой, и третий, она бы даже не смеялась. А теперь это случилось. Жила в неволе лишь несколько месяцев, а впереди не видно конца. Должна была привыкать к мысли, что иной жизни теперь ей никто не даст никогда, и поэтому надо все свое отчаянье, всю свою гордость проявлять уже здесь, выказывать как можно более щедро, бороться, драться, толкаться, кусаться, грызться, чтобы прожить свой век хоть и в неизбежном унижении, зато и не без некоторых возмещений. Есть ли возмещение для свободы? Существует ли? И может ли существовать? Ограничена жизнь человеческая, и человек также ограничен. Только немногим суждено поломать и разрушить даже темницы, возвыситься над всеми и всем, проявить величие духа и устремиться в беспредельность свободы. Это великие люди. Но женщина неспособна на это. Настася не слышала о таких женщинах. Святые великомученицы? Они были жертвами, а она жертвой быть не хотела. Хоть и без надежды на освобождение, но надо жить. А на что надеяться? На случай? На чудо? На Бога? На дьявола?

Надеялась только на себя, на свой легкий нрав, на добрую душу, которая должна теперь соединить в себе, может, и зло с добром. Неосознанно избрала своей защитой ясный смех, за приметив, что этим удивляет всех вокруг и как бы склоняет к себе даже самые мрачные сердца. Можно дразнить людей, бросать им злые слова, дышать ненавистью, а можно радовать, веселить сердца, надеясь на добро, ибо кто бросает злость, получает тоже злость, кто показывает слезы, в ответ увидит тоже слезы, а кто дарит смех, неминуемо услышит в ответ тоже смех, может, и скрытый, подавленный, загнанный в глубину души.

Евнух приблизился к Настасиной купели, одной рукой подбирая полы широкого халата, неуклюже уклоняясь от своевольных брызг воды, другой алчно потянулся к шее девушки, точно хотел удушить ее, – Настася испуганно отшатнулась, но черные сильные пальцы уже вцепились в золотую цепочку, на которой висел золотой крестик, дернули раз и другой, рвали цепочку, вот-вот она не выдержит и рассыплется мелкими колечками, не соберешь!

– Не тронь! – крикнула Настася. – Ты его мне вешал?

Схватила за крестик, как за свою душу. Выскочила из купели, тряхнула длинными красноватыми волосами, словно даже обожгла ими евнуха, тот попятился, забыв про крестик, заботясь лишь о том, чтобы не замочить свои расшитые золотом сафьянцы.

– Живо одевайся, тебя ждет ее величество валиде! – пропищал тонко.

Когда Настася увидела валиде Хафсу, ее потемневшие губы и жутко бледное лицо, поняла, что есть люди, которые никогда не смеются.

Валиде сидела на толстом белом ковре, обложенная парчовыми подушками, вся в темном, как и ее губы, жесткая и немилосердная. Настася огляделась в большом покое. Высокие окна с деревянными решетками – кафесами – внизу, над ними еще один ряд окон, полукруглых, с разноцветными стеклами, на которых змеи и червячки чужих букв, наверное, стихи из их Корана. Ужасная роспись стен в холодных, как глаза валиде, красках. Множество низеньких столиков, шкафчиков, подставочек, все угловатое, восьмигранное, украшенное слоновой костью, перламутром, панцирем черепахи, серебром. Сделано было из дерева, было когда-то деревом, живым, растущим. Как ему было больно, когда калечили его тело, из округлостей вытесывали эти шероховатые восьмиугольники, врезали в живую плоть мертвые куски кости, панциря и холодного металла. Цвело, зеленело, шумело, а теперь мертвое, как эта окаменелая в своей неприступности султанская мать. А может, и она несчастная, как все здесь вокруг?

После купели Настася чувствовала себя как бы вновь рожденной. «Омывается и очищается в купели, в ее светлых водах...» Не могла вспомнить, как оно там дальше. Разве что из Книги Иова: «Зачем дан свет человеку, коего путь закрыт и коего Бог окружил тьмой». Лучше не вспоминать ничего и ни о чем. Забыть бы обо всем и радоваться жизни! Но как ты забудешь,

очутившись перед этой каменной молчаливой женщиной с устами, точно из старого мертвого дерева...

Валиде указала Настасе, чтобы та села возле одного из столиков. Здесь повсюду господствовал язык знаков, язык презрения и угроз. Но что поделаешь? Настася свернулась в клубочек на ковре. Ей было холодно после купанья. Хотя бы спросила эта женщина, не замерзла ли она. Мерзнут ли они сами когда-нибудь? Или так и снуют по тем длиннющим полутемным переходам то босиком, то чуть ли не голыми? На столике халва, обсыпанная сахаром, какие-то словно бы вяленые фрукты, длинношей медный графин, низенькие широкие чашки. Тошнило от одного взгляда на эти неживые лакомства. Утром тоже не могла ничего съесть, только выпила воды. Настася устраивалась поудобнее, улыбнулась не то болезненно, не то горько.

– Мне сказали, что тебя зовут Хуррем? – быстро проговорила валиде.

– Разве я знаю?

– Ты любишь смеяться?

Настася пожала плечами. Кто же не любит?

– Правда, что ты королевская дочь?

Никакая женщина не может побороть любопытства, которое сидит в ней испокон века.

Ни подтверждения, ни отрицания. Смех почти издевательский. Отец звал ее королевной. А она – себя. Разве запрещено? Единственное утешение побыть королевной хотя бы в мыслях. Что еще ей оставалось? К тому же тут так холодно. Боже, как она замерзла! Чтобы не стучать зубами, разве что смеяться. Единственное спасение. Султанская мать вся в теплых мехах, она может сидеть тут сколько ей захочется, а Настасю тянет к печке. Прижаться спиной к теплоте, выгнуться, потянуться.

Валиде не замечала чужих переживаний. Знала только собственные обиды. Смех нахальной девчонки оскорбил ее. Она сказала пренебрежительно:

– Смех – вещь недостойная человека. Это низшая ступень человеческой души. Он идет от дикого своеволия, а не от Бога. Аллах не смеется никогда. Ты знаешь об этом?

Настася снова пожала плечами. Засмеялась с вызовом. Разве она знает? Тут никогда не смеется их Аллах, у нее дома Бог тоже суровый, окружил себя великомучениками, не смеется никогда. Отец поучал, что смех от ада, а не от рая. А в раю – постное блаженство. Глаза под лоб, голова закинута, рот раскрыт – от восторга или чтобы вскочила в него благодать? А ей теперь все безразлично. Благодати не дождется ниоткуда. Единственное, что осталось ей человеческого, – это смех.

Странная женщина вдруг неожиданно сказала:

– Смеешься – это хорошо. Имя дали тебе хорошее. Будешь здесь Хуррем.

Помолчала, внимательно изучая Настасю взглядом (какая же она Хуррем!), потом велела:

– Должна изучить языки. Турецкий и арабский.

Настася тряхнула волосами. Что там учиться! Разве ее этим испугаешь? Язык приходит сам по себе, незаметно, как дыхание. В Рогатине, когда шла к пекарю-караиму Чобанику, должна была говорить с ним по-караимски, с резниками Гесемом Шулимовичем и Мошком Бережанским хорошо было перекинуться словом по-еврейски, с сапожниками братьями Лукасянами по-армянски, викарий Скарбский учил ее латыни и немецкому, а польский знала и без того: полек-подруг было у нее больше, чем украинок-русинок. Разве испугается она какого-либо языка? Выучит – никто и не опомнится. А даст ли ей хоть какой-то язык утраченную волю, сможет ли вернуть ее?

– Умеешь петь и танцевать? – спросила валиде.

Спросила бы об этом сразу, чтобы не пропадать ей тут от холодища, не гнуться и не ежиться на полу. Вскочила на ноги, закружилась на ковре, напевая звонкую веснянку. А за окнами была мглистая зима, хотя деревья и зеленели вечной и от этого словно бы мертвой

зеленую, и валиде тоже сидела под темной стеной, с темными губами, вся в темных мехах, как зима, женщина без весен, отныне и навеки!

– Подойди ко мне ближе, девочка, – позвала она, позвала голосом, глазами, кивком пальца, униженного перстнями с крупными самоцветами.

Настася подошла, остановилась, грудь ее вздымалась высоко, рвала тесные шелка, волосы золотыми волнами лились книзу, освещая живым блеском мрачный покой. Султанская мать рассматривала Настасю долго, внимательно и медленно.

– Гм. Дивные волосы, – молвила как бы себе самой. – Но ничего помимо них. Что ты умеешь?.. Ах, не все понимаешь? Умеешь хотя бы покачивать бедрами? Догадываешься, что разглядываю тебя для самого падишаха? Каждая юная красавица должна придавать блеск яркому свету его радостей. Ты не красавица, но у тебя особенное тело. Твоя нежная плоть, как удлиненное озеро наслаждения, должна согреть его усталость и наполнить душу горячей струей радости.

Валиде говорила скороговоркой, выталкивала из себя слова целыми охапками, так что если бы Настася и понимала по-турецки, то и тогда бы не разобрала всего. Уловила несколько уже знакомых слов, стало ей смешно, не утерпела, засмеялась над странным разговором немой с глухой.

Валиде хлопнула в ладоши, и в покое, неведомо откуда взявшийся, появился черный кизляр-ага, знакомый Настасе с ночи. Звериная ловкость и вкрадчивость были в его мощном теле, а в лице под белыми складками тюбана что-то молящее, словно бы даже собачье. Лишь впоследствии Настася постигла, что это глаза. Не узнавала их, пока они предупредительно ловили каждое движение валиде, когда же остановились на ней, уставились на нее, прилипли, приклеились жестоко и неотступно, узнала вмиг и чуть не вскрикнула от неожиданности. Глаза Стамбула, настороженные, недоверчивые, подозрительные, острые. Глаза выслеживания, преследования, глаза неволи. От них не спрячешься, не освободишься, не убежишь, не спасешься, наверное, и в смерти.

– Пусть натрут ее тело маслом герани, мускусом и амброй, чтобы прогнать из него дикий дух степей, – сказала валиде (а Настасе хотелось закричать: «Лещины дух! Зеленых листьев и трав!») – Чтобы оно было как сад, в котором щебечут птицы блаженства, из которого нет сил выйти. Нужно также позаботиться, – спокойно наставляла кизляр-агу валиде, – чтобы Хуррем предстала перед падишахом в искусном пении и танце, не допуская варварской нечестивости.

Кизляр-ага, прикладывая руку к груди, кланялся чуть ли не после каждого слова, послушно смотрел на валиде и в то же время каким-то непостижимым образом успевал бдительно следить и за Настасей, словно он был о четырех глазах. Так она и прозвала его в мыслях Четырехглазым, и таким он для нее остался навсегда. Отомстить им их же оружием. Назвали Хуррем, как только ступила она за кованые железом двери, и она будет называть их как ей вздумается.

Когда валиде махнула рукой, чтобы они уходили, Четырехглазый буркнул девушке на ломаном славянском:

– Иди за мной.

Научен всему. Еще не знала тогда, что и сам султан Сулейман кроме турецкого, персидского, арабского знал еще и сербский и при его дворе славянский язык звучал не реже, чем турецкий или арабский. Что побуждало султана к этому? Государственные нужды или его темное происхождение? Голос крови? Кто его знает! Настасе еще не было никакого дела ни до государственных нужд, ни до чьего бы то ни было происхождения. Забывала уже и свое собственное. По крайней мере все вокруг старались, чтобы она забыла.

Снова принялись ее мыть, парить, как репу, натирать душистыми благовониями так, словно должен был проглотить ее какой-то людоед, выщипывали брови, отбеливали и без того белое лицо, примеряли множество уборов – широких, легких, прозрачных, до того, что и

сама она стала прозрачной, словно бы светилась, и когда в садах гарема гулял буйный ветер, то поживалась, потому что казалось ей, что тот ветер может теперь свободно пролететь сквозь нее. Цепляли на нее украшения. Пока недорогие, из тяжелого чеканного серебра. Серьги, браслеты на руки и на ноги. И снова перемеряли целые кипы тканей, завертывали ее в них, не жалели, были безумно щедры – роскошь и богатство султанского гарема не имели границ!

Затем приставили к ней старого олуха (все евнухи тут были старые или казались ей старыми) в синих шароварах, в белых шерстяных чулках, в трех халатах, надетых один поверх другого, в большущем синем тюрбане. Евнух вытащил на середину комнаты огромный стоячий барабан, взял длинную колотушку, опустил ее возле барабана на колено и стал что было силы колотить в натянутую бычью шкуру, показывая Настасе, чтобы она кружилась вокруг него, приспособливаясь к ударам колотушки. А дудки! Если хочет, пусть приспособливается сам! И Настася пустилась в такой неистовый танец, запела так громко и звонко, что евнух поначалу оторопел от столь неслыханной дерзости, но потом в нем проснулась профессиональная гордость, он попытался колотить в такт Настасиному кружению и пению, не успевал, сбивался, бранился, пробовал остановить своевольную девушку и тем распалял ее еще больше. Евнух вспотел, из-под тюрбана широкими струйками стекал на его черную физиономию пот, он глотал его и, уже потеряв малейшую надежду успеть за этой козой, бухал в барабан как попало, сплевывал бессильно и грозил Настасе огромной своей колотушкой. Настася заливалась смехом. «Вот вам и Хуррем! Ну я уж вам покажу! Всем покажу!»

Думала, что издевается над одним лишь этим неуклюжим олухом, но забыла о вездесущих глазах гарема. А глаза не пропускали ничего, все замечали, все видели, увидели и то, что происходило между Настасей и барабанщиком, сообщили кизляр-аге, тот сообщил валиде, Хафса по обычаю долго думала, потом сказала:

– Вот и хорошо. Пусть такой ее и увидит его султанское величество.

Валиде неумоимо отдавала приказания. Днем и ночью, в будни и в праздники. И всегда стоял перед ней кизляр-ага, прижимал руки к груди и кланялся. Так же кланялся и перед султаном, но тот не звал главного евнуха, не спешил в гарем, если и хотел кого видеть, то только свою возлюбленную Махидевран, которая после этого проявляла власть еще более неумеренную, превосходя самое валиде.

Весенние ветры повеяли над Стамбулом, над садами серая, над душами счастливыми и несчастными, когда султан пожелал побывать в Баб-ус-сааде. Настася очутилась в зале приемов впервые. Два ряда окон, галереи с резными решетками, оранжевые фаянсы в цветах и травах, кружева резного камня и дерева, ковры, столики с лакомствами, курильницы, посередине возвышение для танцев, рядом высокий трон для султана, низенькие стульчики для валиде, султанских сестер и Махидевран. Евнухи сбили в кучу одалисок, певиц, танцовщиц; приглушенные голоса, подавляемые вздохи, неслышные шаги ног, обутых в мягкие сафьяновые туфельки; пришла Махидевран, проплыла к своему месту; валиде привела султанских сестер Хафизу и Хатиджу, ожидание было тягостным, напряженным, невыносимым. Хотя на дворе стояла теплынь, в зале были натоплены высокие печи. Было душно. Ароматы из курильниц, мази с запахом цветов и заморских пряностей – все смешалось. Настася даже вздохнуть боялась – куда она попала! Тонкостанные, пышнобедрые роскошные одалиски с размалеванными лицами, в шелках, в белых, желтых и черных жемчугах, с зелеными, голубыми, красными самоцветами (за ночь любви), в золоте, парче, в кисее, в тонких шалих, все прозрачно, ничто не спрятано и не укрыто. Все ждало султана, только его одного, все готовилось для него, состязалось за него. Какой ужас, какой позор и какое унижение!

Султан явился в зале, как дух святой, – незаметно, внезапно, чуть ли не сверхъестественно. Настася никак не могла привыкнуть к тому, что люди в гареме появляются всегда неожиданно, ниоткуда, словно бы из ничего. Для этого устроено было здесь множество потайных дверей, укрытий, тяжелых занавесей из плотных тканей, поднятых под самые потолки

галерей и переходов, отовсюду поблескивали чьи-то глаза, улавливалось чужое дыхание, шевелились стены, призраки жили в каждой щели, готовые мгновенно стать плотью, враждебной и ненавистной. Можно ли когда-нибудь привыкнуть к такому, не сойдя с ума?

Султана сопровождал Четырехглазый. Появился незамеченным и исчез, во мгновение ока очутился около своих евнухов, которые стерегли одалисок, расставляли их так и этак, резким шепотом передавали повеления валиде, кому, когда, что и как делать и как себя вести. А султан, между тем, усаживался на свой гаремный трон – высокий, весь в блеске золота, сам тоже весь в золоте, в широченных, до самой земли, тяжелых от золотого шитья халатах, в невероятно высоком тюрбане, на котором кроваво поблескивали две нитки рубинов, а еще один рубин, может самый большой на свете, пылал на безымянном пальце султана, точно кровавый глаз, уставившийся в пеструю девичью толпу, понуро выискивая там несчастные жертвы.

Как только Сулейман прикоснулся к своему насесту, валиде подала знак кизляр-аге, тот толкнул ближайшего евнуха, все задвигалось, заволновалось, на возвышение выпорхнуло несколько скупо одетых девчушек, где-то зачастили барабаны, гнусаво запела зурна, начался танец.

Султан то ли смотрел, то ли не смотрел. Сидел окаменело, тюрбан оттягивал ему голову, был, наверное, тяжелый, как камень, нависал над миром, будто все османство с его жестокостью, ненасытной алчностью. Он не шевельнулся и тогда, когда безмолвных танцовщиц сменили поющие и когда евнухи для разнообразия стали выпускать одалисок меньшими стайками, по две, по три. Он не скрывал величия, как немыслимая гора среди беспредельной равнины, как нечаянное откровение. Был ничей, холодный и одинокий, как руки, поднятые к звездам, как дождь, что оторвался от тучи и не упал на землю, как слабый листок, занесенный из печальных осенних садов в разбушевавшееся море. Настасе стало жутко от созерцания этого всемогущего человека. Зачем-то подкладывал под себя правую руку, точно маленький мальчик. Грел ее, что ли? А может, прятал, чтобы не выдать себя преждевременно нетерпеливым жестом, взмахом, которого не хотел, повелением, к которому не был подготовлен? Настасе даже жаль стало этого человека. Чем-то напомнил ей викария Скарбского. Такой же одинокий здесь, в своих недоступных другим знаниях, такой же высокий, задумчивый, суровый. Только тот всегда бритый, а этот с усами, длинными, мрачными и немилосердными.

А вокруг звучали песни, нудные и тоскливые, как неволя. Песни о чистой любви, какой никогда не было в султанских дворцах, только дикое неистовство самцов и поругание. Настася и не прислушивалась к ним, была равнодушна и к тому, что евнухи так же вытолкают со временем на середину и ее, и будет она кружиться вокруг огромного барабана, в который бьет, обливаясь потом, тот старый олух в белых шерстяных чулках.

Но тут вылетела на возвышение одалиска Гульфем, первая по своей красоте в гареме, соперница самой Махидевран, та самая Гульфем, каждый жест которой сопровождался горячим завистливым перешептыванием, высокая, яркая, вся огонь и красота – лицом, бровями, глазами, жадным ртом, жемчужными зубами, чувственным носом, волосами, как ароматная ночь, телом еще более жадным, чем ее алые губы, она еще и не пела, и не закружилась в танце, только занесла над головой, удлинив до бесконечности гибкие белые руки, маленький бубен, еще и не прикоснулась к нему своими длинными холеными пальчиками, не прозвучал еще ни единый звук, а невозмутимый и неподвижный дотоле султан дернул головой, дернулся весь, передвинулся на троне, подложил под себя уже не одну, а обе руки, и лишь теперь в Настасе пробудился дух соперничества, дух борьбы, гордости и достоинства. Что ей та Гульфем? Красивая, здоровая, нахальная? Пусть! И что ей здесь все? Что сам этот мрачный человек с закутанной, как поповский младенец, головой?! Всех превзойти, победить, всех попать! Показать всем! Чтоб они знали! Хуррем? Пусть знают, какова Хуррем и что она может! Если бы не эта Гульфем, если бы Настасю вытолкнули до красавицы одалиски, она бы пропела свое без огня и без охоты, была бы просто еще одной из этой толпы, но, к счастью или к несчастью, кто-

то (валиде – кто же еще!) сделал так, что та Гульфем своим торжеством, своею победой без борьбы зажгла в душе Настаси такое неистовое пламя, что если оно и не сожжет кого-нибудь постороннего, то уж ее самое наверняка.

Уже и не слышала, как пела Гульфем, не видела, как бесстыдно изгибалась перед султаном, не заметила и движения султановой руки, вслед за которым возле повелителя мгновенно оказался кизляр-ага и подал султану легонький платочек из цветастой кисеи. Султан передвинулся на троне, как будто готовился встать, что-то сделать. Настася не знала, что именно, но и не зная испугалась так, что прыгнула на подмости, где томно изгибалась Гульфем, а евнух в белых шерстяных носках, боясь отстать от Хуррем, мигом поволок за нею свой барабан, натолкнулся на разгневанную Гульфем, аж загудело в пустоте его инструмента, и для Гульфем все пропало. Валиде усмехнулась чуть заметно, Махидевран засмеялась неприкрыто, султанские сестры переглянулись с улыбкой в глазах. Сулейман хоть и не поддался смеху, овладевшему приближенными его женщинами, но передумал вставать, остался сидеть, устроился еще удобнее и плотнее. И тут Настася запела голосом высоким и печальным, барабан ударил, маленькая гибкая фигурка пошла, изгибаясь, по кругу, понеслась, полетела, как луч, как сияние, быстрее, быстрее, и уже летел один только голос на золотой волне, никто не видел Настасю, только слышали глубокий ее голос, а она не слышала себя, не видела никого и ничего, лишь всю себя, змеи красного света струились по ее волосам, тени падали к ногам, как свитки темного шелка, гигантский барабан гудел, как ее маленькое неудержимое сердце, широкие алые шаровары пугливо трепетали вокруг ее ног, а голос рвался из тех страхов, забирался выше и выше, точно хотел вырваться из огромной клетки гарема, оставив на самом дне его свою хозяйку и обладательницу. Но голос не вырвался, Настася не хотела его пускать, он должен был быть вместе с ней и в наибольшем горе, как был когда-то во всех радостях. Ударил свет, резкий, звонкий, евнух в белых шерстяных чулках мигом потащил свой барабан прочь, Настася, сама не ведая, как и когда, очутилась в тяжелом облаке ароматов, которыми дышали тела одалисок, посреди зала вновь кружилась стайка грациозных танцовщиц-грузинок. Султан сидел на своем троне, такой же задумчивый и равнодушный, и пестрый платочек, поданный ему кизляр-агой, словно крыло убитой райской птицы, свисал с подлокотника трона. Вокруг Настаси царила настороженность, напряженное выжидание, слышался тихий шепот, сбитые в кучу тесно и плотно, как овечья отара, одалиски не решались ни пошевелиться, ни дохнуть вольно, только сияющая Гульфем, обнаружив, что Настася оказалась ближе к султану, чем она, почти нагло протолкалась туда и заслонила ее своим роскошным телом, выставясь на глаза Сулейману, не пугаясь испепеляющих взглядов Махидевран, которая не терпела соперниц, даже временных и без значения. Султан, точно зачарованный зрелищем цветущей Гульфем, медленно встал, махнул слабо рукой, словно искал в воздухе что-то невидимое. Кизляр-ага, мгновенно очутившийся возле Сулеймана, подхватил прозрачный цветастый платочек, оставленный султаном там, где он лежал, и пошел за своим повелителем, держась почтительно за его правым плечом.

Танец не прекращался, поэтому султан какое-то время, стоя, присматривался к тоненьким танцовщицам, но, наверное, стало ему скучно от неразличимого мелькания рук, ног, лиц, оголенных грудей, жадно раскрытых глаз, разомкнутых губ. Он медленно пошел к толпе одалисок, шел словно бы прямо на Гульфем и смотрел, казалось, только на ее черную густую гриву, но неожиданно миновал одалиску, толпа расступилась перед ним, как Красное море перед Моисеем, султан отважно углубился в это море нежности, красоты, вожделения, надежд, отчаяния, его тонкие губы под длинными усами незаметно складывались в улыбку, но кому предназначалась та улыбка, кого ждали счастье, вознесение и взлет? Сулейман бродил среди полуоголенных девичьих тел, как слепой, едва не ощупью, никого не видел, не замечал, снова свернул туда, где была Гульфем, и та горделиво выпятила грудь, эту западню сладострастия, в которую неминуемо должен был попасть султан, но он не дошел до нее, неожиданно взмахнул правой рукой наискосок снизу вверх, кизляр-ага, бросившись на этот взмах, мгновенно

вложил в султанову руку кисейный платочек, кисея повисла на какое-то время в пространстве, все глаза летели к платочку и упали вслед за ним, как подстреленные безжалостным стрелком, упали, чтобы увидеть... Бдительно и строго хранит свои тайны гарем, но даже за гаремные стены проник взгляд Сулейманова личного биографа, который не смог удержаться, чтобы не описать событие, с какого началось вознесение никому не ведомой рабыни с Украины:

«Однажды, похаживая между черкешенками и грузинками, девушками, чья красота в Царьграде считалась классической, султан внезапно остановился перед нежным и милым лицом. Он опустил взгляд на лицо, поднятое к нему, лицо без видимой красоты, но с искуственной улыбкой, зеленые глаза, затененные длинными ресницами, обращались к нему не только шаловливо, но и дерзко. И он, видевший столько взглядов, полных страсти, муки и унижения, неожиданно поддался тем смеющимся глазам девушки, которую в гареме называли Хуррем. Платочек, легкий, как паутинка, оставил на нежном плече той, кого весь мир вскоре назовет Роксоланой».

Услышать звук скрипок, когда поцелует тебя белозубый и чернокудрый, засмеяться от радости и восторга... Какая девушка не мечтала об этом? А тут тяжелое, как смерть, молчание и кисейный платочек, неслышно опустившийся на твое голое худенькое плечо, и больше ничего. Разве что завистливые взгляды, и ненависть Гульфем, и еще большая ненависть Махидевран, и нескрываемое удивление всегда невозмутимой валиде. Неужели обычному платочку придают здесь такое значение?

Султан отошел в величии и неприступности. Поднялась валиде, поднялись султановы сестры и Махидевран. Евнухи погнали одалисок к их пристанищам, пошла в толпе и Настася-Хуррем. Ничего не изменилось, только был у нее на плече прозрачный платочек, к которому, как заметила Настася, не решались прикоснуться ни одалиски, ни евнухи, ни даже сама валиде, кивнувшая девушке милостиво, когда проходила мимо. Неужели такая сила в лоскуте прозрачной кисеи?

Кизляр-ага сопровождал султана к его опочивальне. Там ему было сказано: «Хочу, чтобы мне сегодня вернули платок». И хотя никто, кроме кизляр-аги, не слышал этих слов, весь гарем знал, что они будут произнесены, только Настася не ведала ничего и весьма удивилась, когда сама валиде пришла к ней в комнату, сопровождаемая старыми женщинами, опытными в одевании и натирании одалисок, и повела девушку за собой, и сама присматривала, как расчесывают, перечесывают ей волосы, как натирают ее мазями и благовониями, как примеряют широленные, безбрежные, невесомые ткани, забрав у Настаси даже ту прозрачную одежду, которая была на ней в зале приемов.

Пришел Четырехглазый и повел Настасю вверх по скрипучим деревянным ступенькам. Он был бос, ступал по коврам неслышно, чуть ли не крадучись, босой была и Настася. Куда ее вели – к счастью или к преступлению?

Когда она родилась, мышка пробежала через светлицу, и бабка-повитуха сказала, что это добрый знак.

Хотя шла по коврам, босые ноги мерзли и всю ее била дрожь, точно ступала по льду. Шла как на виселицу. Как на убой. Шла или вели?

Каждую весну бегали они на Гнилую Липу, чтобы не пропустить начало ледохода. Но река высвобождалась из-под зимнего панциря всегда ночью, и наутро только глыбы темного льда плыли в темной воде. И все вокруг было темным, черным: земля, деревья, вода. Но чернота какая-то мягкая, словно бы нежная, даже сердце сжималось, и хотелось плакать и смеяться. Цинь-цин, синичка!

Когда кизляр-ага ввел ее в огромную полутемную ложницу, всю в тяжелых, расшитых золотом тканях, в коврах, в дурманных ароматах, расплывавшихся из больших бронзовых курильниц, она засмеялась громко, дерзко. Это был смех испуга и отчаянья (ох, как же она замерзла!), но никто не уловил этого, потому что для кизляр-аги смех нечестивой прозвучал

оскорблением его султанского величества, а Сулейману тот серебряный звон наполнил хмурую душу такой щедростью, эхо которой будет звучать еще много лет, на расстояния немеренные и непредвиденные.

Он прочитал первую суру Корана:

«Во имя Аллаха, милостивого и милосердного! Хвала Аллаху, Господу миров милостивому, милосердному, царю в день суда! Тебе мы поклоняемся и просим помочь! Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых ты облагодетельствовал, – не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших».

Кизляр-ага ловко и умело сдернул с Настаси все те широкие ткани и на голые плечи накинул ей султанскую прозрачную кисею, шепнув сурово:

– Отдай падишаху его платок!

И исчез, оставляя девушку с глазу на глаз с чужим для нее мужчиной.

Султан полулежал теперь на широченном, высоком ложе, на трех тюфяках, положенных один на другой, два нижних набиты ватой, верхний – пухом, лежал на простынях из тонкого полотна, с множеством подушек, подложенных под бока, под плечи и под голову, все в зеленых тонах – цвет Османов.

Султан, «опираясь на зеленые подушки и прекрасные ковры», смотрел на обнаженную Настасю (ибо что та кисея!) так неотрывно, что она замечала только его взгляд и поначалу даже не поняла, что на нем нет его ужасающего тюрбана.

– Подойди! – велел он.

Голос у него был приглушенный, говорил он нехотя. Лишь теперь она заметила, что на султана нет тюрбана. Голова у него была продолговатая, как дыня. Настася чуть не засмеялась. Но было так холодно, что она не в состоянии была даже сделать гримасу, лишь дрожала всем телом.

– Подойди! – снова сказал султан. – Чего же ты?

– Мне холодно, – цокая зубами, ответила она.

Он молча перегнулся на ту сторону ложа, протянул вниз свои длинные руки, поднял чашу, подал Настасе:

– Иди выпей и согрейся!

И она пошла. Сама не знала, почему послушалась его голоса. Ковру не было конца. Тускло горели спрятанные где-то в углах ложницы светильники, рассеивая красноватый свет, она брела в том свете, как в собственной крови, ступала нетвердо, всю ее шатало, и дрожь была все сильнее и сильнее. Наткнулась на мраморный фонтан посреди ложницы. Даже не заметила его, когда вошла. Не знала теперь, как обойти.

– Чего же ты? – снова сказал султан так же бесцветно и равнодушно. Не бойся меня. Иди ближе. Смелее. Выпей это.

«Скромноокие, которых не коснулся ни человек, ни джинн».

Вслепую она ткнулась в берег ложа, обеими руками держала тяжелую чашу, пила, проливая себе на ноги, на ковер, почувствовала на своем нетронутом, пугливом теле сухую, теплую руку, была не в силах сопротивляться той руке, которая опрокинула ее на край ложа, и султан тоже почувствовал пугливость ее тела и тоже не мог (или не хотел) сдерживать свою страсть, не мог ждать, «когда упадет падающее...».

– Отдай мой платок, – сказал тихо девушке, и уже не было между ними ничего, и лукавые линии ее маленького тела уничтожились его телом, сильным и безжалостным, и только вскрик и всхлип, и небеса разверзлись, земля расступилась – и вздох прошелестел в пространстве, в садах, во дворцах, всюду вздох, ее вздох. Бури, дожди, воды, страх, нетронутость, потоки и потоки и тишина, как на краю света, – она уже женщина. Бросить девушку в постель к чужому и враждебному – убить в ее душе Бога. Звери ревели в подземельях серая, как бы напоминая, что не ступишь по этой земле шагу, чтобы не наткнуться на чудовище. Бешеный ветер бил в

ворота, дудел тяжело и скорбно, и плакали дерево, медь, железо, стонали задвижки и засовы, а у нее стонала душа. Но Настася молчала, ни стола, ни вздоха, не зная, куда податься, жалась к султану, и лежали они долго-долго, прижатые друг к другу так плотно, что не оставалось между ними места ни для страха, ни даже для несчастья. Ибо мир все равно прекрасен даже тогда, когда жизнь печальна, тяжела и невыносима. «И создали мы вас парами».

Любовь, молитва и война начинаются всегда прекрасно. А кончаются?

Султан хотел думать об этой девушке, лежавшей в его постели, но не мог. Что-то мешало, а что именно – не мог определить. Может, ее молчаливость? Женщины всегда невыносимо болтливы, он не терпел их болтовни, может, потому, глубоко в душе будучи чуть ли не распутником, из всех сил сдерживал себя и выказывал к женщинам холодное безразличие. Идолы не разочаровывают только потому, что они безмолвны. Может, и эта девушка такой маленький идол? Но она слишком маленькая, чтобы вознестись до его высот и служить ему идиолом. Была и не была. Одна эта ночь для нее останется воспоминанием величайшего (ибо недоступно!) счастья, а для него – просто одной ночью, не более.

Султан не мог разрешить, чтобы женщина видела его спящим. После утех кизляр-ага выпроваживал женщин в их покои. Так же выпроводил он и Настасю, ставшую уже теперь навсегда и навеки Хуррем. Не проронила султану ни слова, чем подивила его и немного рассердила. Но все равно велел, чтобы определили ей отдельный покой и выдали из сокровищницы большие рубиновые сережки и рубиновый перстень – любимые камни Сулеймана. «И вознаградил их за то, что они вытерпели, садом и шелком».

Теперь кизляр-ага принес для Настаси теплую одежду, которую ловко набросил на нее, дал ей и обувь, но она оттолкнула шитые бисером сафьяновые туфельки, пошла назад босиком, потому что уже не мерзли ее ноги, а пылали, как и все тело, огнем.

Ни в каких султанских дневниках нет записи об этой ночи. И сам Сулейман забыл о ней уже утром.

Колонна

Кто мог заглянуть в султанову душу? Даже валиде и Ибрагим, люди, стоящие ближе всех к Сулейману, не могли сказать с уверенностью, как поведет он себя на высоком троне, какие сделает первые шаги, кого возьмет себе за образец: покойного отца своего султана Селима, кого-то другого из султанов, Железного Тимура или знаменитого Искендера?

А сам Сулейман, между тем, видел перед собой только Мехмеда Фатиха, завоевателя Царьграда, султана, который никогда не впадал в отчаянье, даже поражения умел превращать в победы, не терял впустую ни единого дня, ни единой минуты, и когда оставался без власти, заботился о собственных знаниях, а когда готовился к величайшему деянию своей жизни – взятию Царьграда – сам носил камни для сооружения крепости Румелихисар и сам тесал доски для кораблей, которым предстояло пройти по суше к столице императоров, наполнив сердца греков мистическим ужасом. Сулейман любил повторять про себя царское стихотворение, прочитанное Мехмедом Фатихом, когда тот вошел в поверженный Царьград:

Сова кричит невбет³⁹ на могиле Афрасиаба,

И паук несет службу пердедара⁴⁰ в императорском дворце.

Все суета, кроме содеянного Османами. Первое, что сделал Фатих, войдя в Царьград, – превратил самый большой храм нечестивых в мечеть Айя-София. Не разрушил его лишь потому, что свод в храме напоминал небесный. Зато храм Апостолов, который византийцы в бессмертной своей гордыне считали воплощением красоты и гармонии (для Софии оставляли величие), велел немедленно разрушить и поставить на том месте мечеть Фатиха. После его смерти возле михраба⁴¹ мечети поставили тюрге султана – его усыпальницу. Когда-то в церкви Апостолов хоронили византийских императоров, теперь тут лежал Завоеватель. Без пышности, только в сопровождении верного Ибрагима и личной охраны, Сулейман часто ездил к тюрге Фатиха. Огромный город отступал от него, затаивался в своей непостижимости, залегал в неподвижности, как солнечные часы. Только тень передвигается по кругу. Вневременность, мертвенность. Однообразие мечетей, минаретов, фонтанов, журчания воды и крика муэдзинов вызывало какой-то удивительный трепет этого города, монотонность, нарушаемую хаосом, мешаниной, приглушенным уличным шумом, далеким клекотом пестрой толпы, шелестом дорогих тканей, шепотом доносчиков, ударами чаушей, смехом блудниц, стоном невольничьих рынков, любовных вздохов, чавканьем псов и людей, стихами Корана.

В Стамбуле все призрачно, кроме самого Стамбула, гидра и Молох, рай и ад, место пыток и роскоши. Как задержать время жизни? Над этим бьются все, от султана до нищего, а знает это только сам Стамбул. Мехмед Фатих завоевал этот город, но завладел ли им до глубины? И кто завладеет и овладеет?

Сулейман часами простаивал в восьмигранном тюрге Фатиха. Молча ждал ответа на то, что раздирало ему сердце, чем не мог поделиться ни с кем из живых. Приходил к мертвому.

Гробница, приподнятая в широкой своей части так, словно бы Фатих должен был вот-вот подняться, покрыта белым кашемиром, сверху небольшой ковер и зеленая шаль – цвет Османов. В головах большие, толстые, из бараньего сала свечи (не восковые, ибо Аллаху должен приноситься в жертву домашний скот, а не мухи) в подсвечниках из ляпис-лазури, камня египетских фараонов. Тюрбан, точно опрокинутая чаша, висит вверх. На ковре цвета земляники ходжа днем и ночью читает Коран. «Скажи: «Он – Аллах – един, Аллах вечный; не родил и не

³⁹ *Невбет* – обычай ежедневно бить в барабан в знак торжества независимости. Здесь ирония: сова кричит невбет – знак утраты независимости.

⁴⁰ *Пердедар* – слуга, раздвигающий занавесы во дворце.

⁴¹ *Михраб* – обращенная в сторону Мекки часть мечети, типа алтаря в христианских храмах (*араб.*).

был рожден, и не был Ему равным ни один!» Десять, сто, тысячу раз ту самую суру «Очищение веры» читает ходжа, и так же повторяет за ним слова книги султан, пока скучающий Ибрагим, терпеливо стоящий рядом, разрешает нелегкую задачу: может ли человек, без конца повторяя те же самые слова, о чем-то думать, вообще может ли выполнять свое назначение на земле – мыслить, возносясь над миром живым и неживым, если и не равняясь Богу, то по крайней мере приближаясь к нему?

В мечеть Фатиха Сулейман ездил и осенью, и зимой, и весной, наверное, всякий раз, подъезжая к Фатиху и возвращаясь оттуда, видел высоченную порфиновую колонну Кызташи, одиноко стоявшую неподалеку от мечети, но ни разу не обратил на нее внимания, как не обращал видимого внимания на все, что попадалось ему на пути. Мало ли колонн в Стамбуле, каких не укрыло османство в своих священных строениях, и теперь эти камни нечестивых торчали повсюду: и по сторонам дороги, по которой ездил Сулейман на Ок-Мейдан, – белые мраморные колонны, которые ничего не поддерживали; и колонна императора Константина, называемая Чемберли-таш, – камень с обручами – окована была железными обручами после того, как молния отбила ее верхушку и как опалило ее пожаром во время восстания Ники; и готтская колонна под стенами гарема, вырезанная из сплошного гранитного блока, когда-то на ней якобы стояла статуя основателя города Бизаса; и змеиная колонна – три переплетенные бронзовые змеи, державшие когда-то на себе золотую чашу, четыре ступни в поперечнике, и уже давно утратившие ее, ибо все суeta и временность. Пурпурная, как закипевшая кровь, колонна Кызташи держала когда-то на себе статую девственности, греческую богиню Афродиту. Обладала волшебной способностью указывать даже в самой большой толпе на девушек, утративших невинность. Афродита клала на них свою тень, и они не могли ни укрыться, ни убежать. Так была избличена невестка императора Юстина, и толпа растерзала ее у подножия этой колонны. Эти глупые басни не задерживались в Сулеймановой голове. Может, потому и проезжал множество раз мимо колонны совершенно равнодушно. Заметил ее лишь в тот день, когда окончательно утвердился в намерении вести из Стамбула огромное, еще султаном Селимом обученное, а сейчас разленившееся и нетерпеливо ждущее добычи и грабежей войско, вести не туда, куда со странным упорством направлял удары его отец, – против единоверцев, а продолжая великое дело Фатиха – против мира неверных. Но об этом не знал еще никто, сам султан, упорно молчавший, выжидал подходящего момента, когда сможет объявить о своем намерении, а может, ждал какого-то знака, что подаст Фатих, поэтому и ездил поклоняться его праху так часто и упорно.

И внезапно увидел эту колонну. Он остановился и долго смотрел на нее, закинув голову так, что чуть не падал его высоченный белый тюбан, рассматривал ее, забыв о высоком султанском достоинстве, как уличный босоногий чоджук⁴², только и разницы, что не разевал рот от изумления или восторга перед высотой, крепостью и могуществом колонны, ее кровавым цветом и ее одиночеством, что было как вызов.

Не знак ли это, оставленный ему, четвертому султану со дня взятия Царьграда, султаном первым, султаном Завоевателем, великим Фатихом? Именно здесь прежде всего разрушалось, уничтожалось все византийское, чтобы поставить первое османское святое сооружение, а колонна оставлена. Не разрушенная, не уничтоженная, оставленная не без тайной мысли, не без намека, точно каменный завет и указатель: добей, дорущь, доверши недовершенное.

Сулейман остановил своего черного коня и спросил, есть ли среди свиты великий зодчий Синан-бей, которому было поручено сооружение джамии и тюбе султана Селима на вершине пятого холма Царьграда.

Ибрагим сказал, что Синан-бей сегодня с ними нет.

– Позвать, – коротко велел султан, и в голосе его слышалось нетерпение.

⁴² Чоджук – мальчишка.

Немедленно был послан гонец за Синан-беем, хотя Ибрагим не видел нужды в такой поспешности.

Синан, как и Ибрагим, был грек. Только не островной, а с материка, из Каппадокии. Начинал тоже, как Ибрагим, с рабства. Маленьким мальчиком его взяли в девширме⁴³, отдали в аджемы – янычарские ученики, там он, кроме военного дела, избрал для себя изучение архитектуры, учился у великого зодчего султана Баязида Хайреддина, но, прежде чем самому начать строить, много лет провел в походах с султаном Селимом, наводил мосты для войска, первым перебегая по ним, чтобы вонзить саблю в противника, сооружал галеры во время Ванского похода и сам возглавлял янычар, посаженных на те галеры, чтобы переправиться через озеро и захватить врасплох кызылбашей⁴⁴. Прежде чем созидать, он разрушал и уничтожал, как и все Османы. А может, и все созидания начинались с уничтожения созданного предшественниками? Затаптать кости предков, а с развалин взять камни для своих сооружений?

Султан не стал ждать Синан-бея у колонны Кызташи – это было бы недостойным его высокого сана. Но еще в тот же день зодчий встал перед Сулейманом и получил повеление свалить колонну, стоявшую близ мечети Фатиха, и использовать ее для сооружения джамии Селима.

– Она слишком высока для тех колонн, которыми я хотел окружить двор джамии, – заметил Синан-бей, не любивший, чтобы в его дела вмешивались посторонние, даже сами султаны.

– Укоротишь, – мрачно молвил Сулейман. – Укорачивают людей, не то что камень.

И добавил уже мягче из Корана:

– «Разве ты не видел, как поступил твой Господь с Ирамом, обладателем колонн?»

Пока колонну опутывали веревками, чтобы свалить, султан поехал в Сютлюдже через Золотой Рог, пострелять на Ок-Мейдане.

Сопровождал его весь двор, везли походные жаровни жарить мясо баранов и верблюдов, корзины с припасами, ковры для отдыха на траве. Сулейман пожелал после стрельбы из лука устроить трапезу на Ок-Мейдане. Фатих в первую пятницу после взятия Царьграда устроил здесь банкет для победителей. Он был так рад, что сам разносил кушанья и сладости своим визирям, повторяя при этом слова пророка: «Господин над народом – это тот, кто служит ему».

Пили и ели до сумерек. Новый султан, не имея военных побед, не имел и радостей, поэтому и не разносил кушаний своим визирям, хотя Ибрагим шутило и подбивал его на это.

На следующий день с утра, после молитвы в мечети, султан поехал посмотреть, как будут низвергать колонну Кызташи.

Оплетенная тысячью толстых веревок, колонна походила на плененного раба, приготовленного то ли на продажу, то ли на казнь. Тысячная толпа шевелилась у основания колонны – гологрудые, жилистые, в грязных чалмах, с диким неистовством в глазах, готовые свалить что угодно на свете: колонну, святыню, а то и самого султана. Муллы, стоявшие по краям толпы, затянули молитвы: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Когда упадет падающее – нет ничего отрицающего ее падение! – унижая и возвышая, когда сотрясется земля сотрясением, когда сокрушатся горы сокрушением».

Султан с пышной свитой стоял в ограде из толстых деревянных брусев. Четыре ряда янычар, готовых зарубить каждого, кто бы осмелился кинуться через брусья, замыкали широкое пространство, отделявшее султана от смрада и пота тех босых, жилистых, гологрудых.

Синан-бей ждал знака султана. Султан едва заметно качнул тюрбаном; Синан-бей поднял руку. Ударили барабаны. Расставленные повсюду помощники Синан-бея прокричали приказы. Муллы завывали слова о сотрясении. Гологрудые натянули веревки. Раскрылась тысяча ртов.

⁴³ *Девширме* – так называемый «налог крови», который османцы собирали в покоренных христианских странах. Маленьких мальчиков насильно забирали у родителей, отвозили в Стамбул, где отдавали в школы аджемов.

⁴⁴ *Кызылбаш* – так называли тогда персов.

Вздулись жилы на сильных шеях. Дикий вой перекрыл все звуки. Плененная колонна качнулась и, описав жуткий огромный полукруг, стала падать прямо на людей. Вой перешел в полный ужаса вопль. Толпа бросилась врассыпную, чуть не смяв султана с его свитой. Колонну уже ничто не могло ни удержать, ни остановить. Она падала тяжело и мучительно. И когда ударилась оземь, то словно бы стон прозвучал в пространстве, стон земли или камня – кто же разберет. Когда сотрясется сотрясением...

Синан-бей спокойно докладывал султану, как он хочет перевозить колонну на пятый холм Стамбула. Снова всю опутать веревками. Подложить деревянные катки. Тысяча людей станет перетаскивать колонну пядь за пядью все дальше и выше. Долго и упорно. Но неотступно. Ибо разве же не так творится все на свете?!

Сулейман долго смотрел на поверженную колонну. Молчал. Неведомо было, слушает он Синан-бея или не слушает. Перед его глазами все еще мелькали босые грязные ноги, что-то гневно кричали черно раскрытые рты, било в нос смрадом нужды и бедности. Хотел спросить, что это за люди – рабы или правоверные. Но не спросил. Молчал тяжело, упорно. Потом неожиданно сказал:

– Пусть остается тут. – И добавил загадочно, как всегда: – «Ведь поистине с тягостью легкость, поистине с тягостью легкость!»

Поздно ночью прибыл в столицу гонец, принесший весть, что в Будиме венгерский король убил султанского посла Бехрама.

Река

Вступив на престол, Сулейман обратился с посланиями к правителям всех дружественных и враждебных земель в Азии, Европе и Африке. Могущество султана должно было проявляться уже в пышных титулах, какими начиналось послание: «Я, неоценимой, бесконечной благостью Всевышнего и великими, исполненными благословения чудесами Главы пророков (которому да воздается низжайшее поклонение, купно как и его дому и его спутникам), Султан славных Султанов, Император могучих Императоров, раздаватель венцов Хозроям, что сидит на престолах, тень Аллаха на земле, служитель православных Хоремейн-у-Шерифейн (Мекки и Медины), мест божественных и священных, где все мусульмане провозглашают обеты, покровитель и властелин святого Иерусалима, повелитель трех великих городов – Константинополя, Адрианополя и Бруссы, а равно и Дамаска, запаха Рая; Триполи и Сирии; Египта, редкости века и славного своими радостями; всей Аравии, Алеппо, Араба и Аджена, Диарбекира, Зулькадрии, Эрзерума чудесного, Себаста, Аданы, Карамании, Карса, Чилдира, Вана, островов Моря Белого и Моря Черного, стран Анатолии и королевства Румелии, всего Курдистана, Греции, Туркомании, Татарии, Черкесии, Кабарды, Грузии, благородных племен татарских и всех иных Орд, от них зависимых, Кафы и других соседних городов, всей Боснии с зависимыми от нее землями и укрепленными местами великими и малыми в этих землях, властитель, наконец, множества городов и крепостей, которые излишне перечислять и приводить имена, я, Император, убежище правосудия и Царь Царей, средоточие победы. Султан, сын султанов султана Селим-хана, сына султана Мехмеда Завоевателя, я, по могуществу своему, украшен титулом Императора обеих земель и для довершения величия моего Калифатства прославленный титулом обоих морей...»

Далее в зависимости от того, кому предназначалось послание, предлагалось подчиниться, или же обещан мир, или требовался мир, подтверждением чего должна была быть дань, немедленно выплаченная султанскому послу.

С таким именно требованием поехал Сулейманов посол Бехрам к венгерскому королю Лайошу, но тот, подговоренный своими бесстрашными и драчливыми графами, велел обезглавить Бехрама, султану же не ответил ничего, да и какой еще ответ мог быть после столь мерзкого поступка? Когда великая держава убивает послов державы малой, то это еще можно объяснить, ибо чрезмерность силы неминуемо должна проявиться хотя бы в действиях позорных. Но кому же может пожаловаться малая держава и у кого ей просить помощи? Зато держава великая имеет возможным образом покарать коварных нарушителей мирового порядка, проучив их и всех тех, кому бы возжаждалось следовать нечестивцам.

В Стамбуле ударили пушки в знак войны. Янычары на Ат-Мейдане радостными криками приветствовали священную волю султана. Сулейман не созывал дивана⁴⁵, не советовался, не говорил, против кого война, но все знали и без того: против неверных, как бы они там ни назывались!

Сам султан торжественно выводил войско из Стамбула. Ехал на любимом своем черном коне в золотой сбруе, позади себя держал любимца своего Ибрагима, с которым только и мог перебрасываться словом, дальше ехали четыре его визиря, за ними беи, придворные пажи и капиджии из придворной стражи, янычарские старшины и сами янычары, которые шли за конными пешим строем в своих высоких шапках и войлочных уборах. Султан удивлял всех своим тюрбаном, высоким, как колонна, с двумя павлиньими перьями в огромных рубинах. У четырех визирей тюрбаны были низкие, широкие, с золотыми шнурками вокруг верхнего рубца. Беи красовались в тюрбанах таких, как и у падишаха, но намного ниже. Головы ученых улемов

⁴⁵ Диван – в Османской империи совет при государе.

украшали округло намотанные чалмы. Дильсизов можно было узнавать по острым высоким колпакам из златотканого полотна, а капиджиев – по красным шапкам, заломленным так, что они свисали назад. Янычарские старшины, в отличие от рядовых янычар, украшали свои войлочные колпаки пучками перьев, скрепленных драгоценными камнями.

Вслед за роскошной султанской свитой, за грозным корпусом янычар в течение целого дня шли по улицам Стамбула триста тысяч воинов, приведенных сюда из Ункьякчаири, где они томились от скуки уже целый год, за войском в туче смрада проплыло шесть тысяч приведенных из Сирии Ферхад-пашой верблюдов, нагруженных припасами, за ними, пугая уличных разинь, прошли могучие слоны, среди которых был и султанский слон, в золотой сбруе, со стальными мечами на бивнях, черный, как и Сулейманов конь.

Происходило это в субботу 18 джемада (мая) 1521 года, Сулейман положил первый камень в мечеть отца своего Селима на пятом холме Стамбула, поклонился праху великого Мехмеда Завоевателя и повел свое ужасающее войско на Эдирне, часто останавливаясь для передышки и для охоты в лесах на Мерице.

Никто не знал, против кого будет направлен удар этой силы, кто первый станет жертвой султанова могущества. Может, не знал этого еще и сам султан?

Десять дней шли до Эдирне. Передышки, охота, молитвы, диспуты ученых улемов. Тут присоединились к огромному султанову войску отряды румелийского беглербега Ахмед-паши, потомка святого Саввы. О своем высоком славянском происхождении Ахмед-паша вспоминал только тогда, когда на султанском диване нахально одергивал визирей. Всех считал ничтожествами, мечтал стать визирем, а там и сменить самого Пири Мехмеда.

Еще через десять дней достигли Пловдива. С лесов и гор в войско были пригнаны тысячи новых людей, они вливались в грозную тучу, не ведая, куда идут и что должны делать, у многих не было никакого оружия, кроме обычного заостренного кола или лесорубского топора.

Еще семь дней потребовалось, чтобы дойти до Софии.

Болгарская земля стонала от нашествия. Как исполинский полип, присасывалось войско тысячами присосков к городам, селам, полям со снопами, к пчеле и к каждой скотинке, к каждому дыму, к каждому колодцу и сосало, сосало, несло страх, порабощение и опустошение. С каждого двора брали один дукат, две овцы (одну с ягненком) и барана. Двадцать дворов объединяли в катун (летнее пастбище). От каждого катуна полагались один шатер, головка сыра, три веревки и шесть обротей, один бурдюк масла и один баран. Только в Софию велено было привезти десять тысяч возов провианта для войска. Кроме того, от каждых пяти дворов должен был идти с султаном в поход один воин. А с тех, кто оставался, положено было брать по дукату с каждой головы и десятую часть от урожая султану за то, что он оберегает землю Аллаха, четвертую, часть урожая спахиям⁴⁶, по две аспры с каждой головы скота, по две аспры с каждого улья, коня, колодца, дыма из печи пашам, которые отправляются в путь, и пашам, которые прибывают, войску, когда оно проходит, и войску, когда оно должно пополняться. Но это подати обычные, согласно с законом шариата, – харадж, ушр и джизье. А там, где проходило войско, султанские кехаи⁴⁷, едущие впереди с отрядами янычар, начинали собирать подать по обычаю – урифийе. Велись принудительные работы – авариз: сооружение крепостей, прокладывание дорог, наведение мостов. Султанские чиновники по сбору продовольствия – арпаэмины – принудительно днем и ночью собирали сюрсат – продовольствие для войска: ячмень, пшеницу, муку, мясо, дрова. Кто укрывал запасы, подлежал немедленному и беспощадному уничтожению – люди, поселки, общины. Казалось, что могло остаться даже в самой богатейшей стране после такого грабежа? Но изобретательности султанских дефтердаров не было удержу. Выдумывались новые подати, сдирались с еще большим рвением и жестокостью: алаф – фураж

⁴⁶ *Спахии* – воины султанской кавалерии.

⁴⁷ *Кехаи* – сельские старосты.

для султанских коней и животных, имдад-и-сеферийе – помощь для нужд похода, имдад-и-дихадийе – помощь для священной войны, бедел-и-нюзюдль – подать для постоя, даже подать за труд, затраченный зубами османцев на поедание христианских харчей, – дишь параси.

Если бы султан взял в поход свой гарем, тогда собирали бы еще и подати на гарем, но Сулейман вез с собой только стамбульский зверинец: на огромных арбах, запряженных быками, железные клетки со львами, тиграми, пантерами, гиенами, волками и медведями. Для зверей собирали свежее мясо. Хорошо, что хоть не человеческое пока.

Отбирали коней, буйволов, ослов, каждое колесо, бревно, кусок веревки. Горемычные люди, схватив, что могли, а то и с пустыми руками, спасая хотя бы душу, убегали в леса и горы, искали плодородные земли как можно дальше от дорог, бросали там зерно в землю, чтобы вырос какой-никакой колосок и можно было бы прокормить детишек, продолжить свой род, не поддаться уничтожению.

Только в Софии на диване Сулейман изложил план своего похода. Идти на Белград, чтобы взять эту крепость, укрепиться навсегда на Дунае, исполнив волю предков. Намерение было дерзкое, но достойное величия султанской державы. Сам Мехмед Завоеватель не мог взять Белград уже и после того, как прославился взятием Царьграда и когда казалось, что нет в мире силы, которая смогла бы устоять перед его мощью. Сулейман спрашивал у своих визирей совета, но всем было видно, что не отступится от бесстрашного намерения этот молчаливый, загадочный властитель, да и огромное войско, которое целый месяц топтало болгарскую землю, уже невозможно было повернуть вспять. Стрела наложена на лук, тетива натянута – выхода нет.

С софийского поля султан послал тысячу янычар с Хусрев-бегом, чтобы они начали осаду Белграда и взяли Земун для лучшего доступа к городу, который ждал нападения с юга, от горы Авалы. Сулейман помнил, что заботило Мехмеда Завоевателя под Белградом. Тот хотел переправить войско через Саву, расположить возле Дуная и там укрепиться, чтобы не дать венграм прийти на помощь Белграду. Но на диване беи отговорили его от этого намерения: «Счастливый повелитель, не делай этого, ибо в этом нет нужды». Так берег Дуная остался оголенным, и оттуда венгры без помех посылали осажденным с суши белградцам необходимую помощь и припасы, и Завоеватель так и не смог взять этот славянский город.

Вслед за янычарами под Белград был послан великий визирь Пири Мехмед-паша с двадцатью тысячами всадников и полусотней огромных пушек для разрушения стен верхней крепости.

Сам султан пошел на Шабач, который назывался тогда Буирделен, но через четыре дня его встретила весть: «Град Буирделен пал, и сто неверных стали поживой осиянного мусульманского меча». Эти сто защитников убили семьсот турок, но более выстоять не могли. Султан вошел в крепость через шпалеры голов, насаженных на колья. Велел укрепить Шабач, провести через него Саву. Сидел на берегу реки в зеленом шалаше, сделанном из свежих веток, смотрел на работы, молчал, думал. Затем приказал построить через Саву мост. Снова сидел с самого рассвета в зеленом шалаше, не подпускал к себе даже Ибрагима, смотрел на реку. Тело реки переливалось солнечными блестками, как серебристо-стеклянная змея, как тело женщины, плывущей мимо него, сквозь него, вне его, обтекая, проскальзывая дальше и дальше, неуловимо и нереально, как сон и бред.

Визири, паши, янычарские аги подгоняли людей палками, люди работали иногда по шею в воде, таскали колоды, тяжелые челны, плоты, вязали, настилали, скрепляли.

Султан не мог оторвать взгляда от поверхности реки, она лежала перед ним, как земля, как беспредельный текущий простор, что поглощает все на свете, поработает, заточает даже время, останавливает его бег. Он подчинил себе время, должен подчинить и пространство. Одолеть, подавить, поработить! Перейти через эту реку, не прикоснувшись к ней, с сухими

подошвами, легко и летяще, дать ей почувствовать свою силу, власть, могущество, злость, поработить, обезволить, презреть, пусть корчится, стонет, мечется, кричит!

Река была как та забытая им славянская девушка, она притягивала и отталкивала одновременно – странное соединение несоединимого – она пахла чужим зельем, неведомыми травами и растениями, пахла чужой волей, от которой Сулейман пьянел, как от кандийских вин или одурманивающего опиума. Целыми днями неподвижно сидя в зеленом укрытии на берегу великой славянской реки, мутной и норовистой, он неожиданно для себя (может, это от султанского одиночества?) вспомнил то, чего не помнил или не хотел помнить, выбросил из души уже наутро после той ночи с маленькой смешливой чужестранкой. Трепетанье птиц на предутренних деревьях, звезды зодиака, величие небес и непробиваемой густоты листва, а сквозь все это – белые пальцы на тяжелых полушариях груди, слова без значения, невозможность понять язык друг друга; он закрывал веками глаза, но она проникала и под веки, оживала в его глазах и в нем самом, проходила сквозь него без усилий и без желания, как дух без Бога, оставляла в нем невесомую белизну своего тела и обольстительную тяжесть полушарий, растерянно прикрываемых корзиночками из тонких пальцев.

Он сидел, смотрел, как перебегают по недостроенному еще мосту на ту сторону спахии Ахмед-паши и царьградские янычары, а какие-то демоны желания, не подвластные ему, толкали его вновь и вновь к воспоминаниям о том, чего не помнил, искушали пробиться памятью под шелковистую кожу той, что была как ветер, который никогда не уймешь, как река, которую никогда не остановишь, как земля, которую никогда не исходишь. «Разве они не посмотрят на верблюдов, как они созданы, и на небо, как оно возвышено, и на горы, как они водружены, и на землю, как она распростерта? Напоминай же, ведь ты только напоминатель».

Султан сидел день, другой, на исходе второго дня послал в Стамбул подарки для одалиски Гульфем. Почему для Гульфем, сам не мог бы ответить. Его гигантский шатер с золотым шаром наверху окружали тысячи людей, но из тех тысяч не подпускал к себе никого, ждал покорения реки.

На третий день начался дождь. Он шел целую неделю, разбушевавшиеся волны ударили в мост, оторвали его от берегов, понесли вниз по течению, ломая и руша. Десять дней тысячи людей, изнемогая, погибая, утопая в воде, строили этот мост, десять дней султан в зной и в дождь сидел на берегу под зелеными ветками и неотрывно смотрел на реку, а теперь от сделанного не осталось ничего. Сава текла свободно и своевольно, и Сулейману казалось, что она течет сквозь него, сквозь его душу.

Он велел переправлять войско и коней на ту сторону галерами. Сам четыре дня отдыхал, призвав к себе Ибрагима. Это был странный султан. Не водил войска на приступ, не размахивал саблей, не реяли над ним зеленые знамена, не гремели султанские барабаны. Распустил по всей земле своих пашей и бегов, как кровожадных псов, знал, что все сделают и без него так, как делалось при всех Османах: шпалеры набитых на колья людей, пирамиды из отрубленных голов, горе людское, страх, кровавая завеса, сотканная из чужих страданий, а за нею – отгороженный от всего султан, падишах, Сахиби Киран – Повелитель Века, тень Бога на земле.

Бесстрастная рука султанского словослагателя, между тем, записывала в походном дневнике:

«Земля неверных наполнилась беженцами. В этой победоносной войне акинджии были разделены на два войска. Одно их крыло перешло в землю валахскую, чтобы захватить Эрдель и Темишвар, другое крыло шло с царской ордой, эти грабили окрест лежащие города и края».

«И от Пири-паши прибыл гонец. Он принес весть: град по имени Земун взят! Били пушки, длилась тяжелая борьба, но наконец милостью божией захвачен. Много мусульман в боях полегло за веру. Неверные, схваченные в городе, стали поживой для меча. Жены и дети взяты в рабство».

«Один родственник сына татарского хана пошел с татарами в Срем собирать харч для войска. Пришла весть, что их на пути встретило много неверных, вспыхнул бой, и в том бою многие татары с родственником ханова сына погибли».

«Боснийский санджак-бег Яхья-пашич, проходя по венгерской земле с шестью тысячами войска, взял три города. Два из них взяты с боями. Все неверные зарублены. Были грабежи».

«Мустафа-паша вернулся с грабежей. Привел много рабов».

«От Яхья-пашича прибыл человек. Принес пять голов и привел закованных в железо шесть неверных. На диване их зарубили».

«Навалился Яхья-пашич на один город. Много неверных зарубил, 70 или 80 неверных посланы султану. На диване все зарублены. Шестеро брошены слону, и он растерзал их».

Сулейман спокойно созерцал эти жестокости, словно бы считал, что в наказаниях нужна не только суровость, но и изобретательность, даже утонченность. Не замечал, что жестокость еще более изобретательна, чем мудрость. К сожалению, только в преступлениях и карах.

В последний день июля Сулейман впервые смотрел на Белград с земунского берега. В Земуне брошены диким зверям братья Михайло и Марко Скоблич, защищавшие город от Хусрев-бега. Тешило ли и это зрелище султанские очи?

На берегу Дуная напротив Белграда вновь поставлен большой зеленый шалаш для султана. Он приезжал в него каждый день, проводил короткий диван, отдавал приказы и целыми днями из-под своего зеленого убежища молча рассматривал неприступный славянский город на высоком берегу реки. Кроваво-красный от пожаров, вознесенный под самое небо, Белград напоминал ту порфиновую колонну, которую свалил Сулейман в Стамбуле. Свалить все, свалить, бросить под ноги, поработить и поневолить, иначе порабощен будешь сам.

Восемьдесят семь тысяч воинов окружили Белград и непрерывно били в его стены из пушек, поставленных в одиннадцати местах. Никто не мог помочь обреченному городу. Лайош, король венгров и чехов, которому принадлежал город на Дунае, не имел сил, чтобы выступить против грозного султана.

Император Карл был озабочен борьбой с немецким монахом Лютером и французским королем Франциском, напавшим на Италию. У австрийского герцога Фердинанда не было чем оборонять даже свою собственную землю. Папа римский Лев IX не знал, как покончить с ересью, расколовшей его церковь. Венецианцы не хотели ссориться с султаном.

Таким образом, какая-то полутысяча защитников Белграда, отрезанная от всего света, оставленная всем светом, должна была обороняться от могущественной султанской силы. С савского берега шел с войсками великий визирь Пири Мехмед-паша, с дунайского наваливался визирь Мустафа-паша, с которым были все стамбульские янычары. Начался рамазан, большой радостный мусульманский праздник, и войско с еще большей рьяностью бросилось на неприступную крепость. Султан велел построить у самого Белграда наплавной мост через Саву. Снова пошел дождь. «И пролили мы на них дождь; и плох дождь тех, кого увещали!»

На диване было решено: с утра четвертого дня рамазана – первый приступ! Защитники подожгли нижнюю часть города и перебежали в верхнюю крепость, где их с трудом приняли из-за нехватки продовольствия. Через неделю спрыгнула со стены крепости женщина. Приведенная к Пири Мехмеду, она сказала, что в крепости уже нет ни харчей, ни военных припасов. В пятницу, на следующий день, Сулейман подошел под стены крепости, велел поставить шатер, отдыхал в нем какое-то время, потом повелел идти на приступ. Тучи войск двинулись под стены крепости. Она агонизировала. Замолкла даже башня серба Якова Утешеновича, огонь из которой был самый опустошительный во все эти дни. Над крепостью вывесили белый флаг. Султан повелел прекратить огонь. Защитники просили десять дней, чтобы подготовить город к сдаче, а сами тем временем поспешно латали пробоины в стенах. Снова загремели пушки.

Пойман был переодетый янычаром посланец к венгерскому королю за помощью, поставлен был перед султанским диваном, посажен на кол.

От последнего приступа уже не было спасения. 26 рамазана 927 года хиджры (или 29 августа 1521 года) султанские муэдзины впервые пропели с белградских высот азан⁴⁸. «Пири-паша с дефтердаром вошли в башню, чтобы завладеть казной. Сразу после них появился отряд Хусрев-бега, смедеревского санджакбега. Музыка играла. На высоком диване трижды проббили в барабан, которым оглашаются радостные вести. Янычарский желто-красный флаг был поднят над городом. В честь этого события играла музыка. Настала благословенная ночь Лейле-икадр, святейшая для мусульман, ибо в эту ночь Магомету пришло первое божье откровение».

Сто пятьдесят венгров, защищавших Белград вместе с сербами, Сулейман отпустил, чтобы поплыли по Дунаю к своему королю и рассказали ему о султанской силе. Двух из них – Блажа и Моргая – поставили перед Ибрагимом, который был теперь султановыми глазами, ушами и устами, был волей султана и его карающей десницей, все это знали, кроме этих пленных, а если знали и они, то все равно уже ничем не могли себе помочь, ибо побежденный может только ждать. Чего? Милости или смерти?

Наверное, они уже догадывались о том, что умрут, поэтому смотрели на Ибрагима с понурым равнодушием, он же блаженствовал от неограниченной власти над этими двумя бесстрашными мужчинами, которые доказали своими действиями, что не боялись смерти, но которые (и это неизбежно и необратимо!) должны испугаться той смерти, какую он им определит, испугаться и ужаснуться. Поскольку для ужаса тоже нужно какое-то время, то Ибрагим решил предоставить его этим двум упрямым глупцам, за тем и велел привести их сюда. Они были удивительными людьми. Если бы даже кто и захотел найти среди тысяч и тысяч двух столь неодинаковых людей, то, пожалуй, никогда бы и не нашел – так отличались они внешне друг от друга.

Блаж, высокий, белокурый, голубоглазый, тонкий и гибкий, как юноша, с красивыми тонкими усами, с золотистым загаром на лице, весь в голубом, с золотыми позументами на одеянии, стоял гордо, отставив ногу, как бы опираясь правой рукой на рукоять воображаемой сабли (оружие у них, ясно, отобрали), смотрел поверх Ибрагимовой головы куда-то в далекую даль, видел там только то, что доступно было его глазу, – может, окидывал взглядом с высоты своей смертной самое отдаленное и самое удивительное из истории своего свободного народа: черноморские степи, травы, табуны коней, прекрасных всадников, костры под звездами, ласточек в небе, широкий Днепр, золотые соборы Киева, Карпаты, солнце над придунайской равниной.

Моргай, невысокий, черный, как кипчак, стоял неуклюже, неумело, раскорячив привыкшие охватывать конские бока ноги, пронизывал бледнолицего султанского сипехсалара⁴⁹ острым, как у юрюка⁵⁰, взглядом, презрительно кривил губы под черной подковой усов, словно хотел сказать Ибрагиму: «Не ты меня, а я тебя должен был судить, ибо во мне кровь столь же неистова, как у этих родичей моих далеких предков – куманов, а ты лишь идололицый предатель, только и всего».

Но это лишь казалось, что Моргай хотел заговорить с Ибрагимом таким образом. Ибо при всей его внешней несхожести с Блажем было в нем нечто неуловимое и непостижимое, роднившее его с Блажем даже больше, чем сынов одной матери. Стояли, как два крыла своего народа, как две его ипостаси, как две ветки могучего дерева, как две половинки орехового ядра – не разорвать, не расколоть, не разрубить, – жить, так жить обоим, умереть, так тоже вместе!

Ибрагим обладал метким взглядом и еще более метким умом. Он мгновенно постиг, что запугать этих людей не дано никому, поэтому повел себя с ними, разыгрывая сочувствие.

– Как же это случилось, что вы не сдержали слова?

⁴⁸ Азан – молитва.

⁴⁹ Сипехсалар – оруженосец.

⁵⁰ Юрюк – кочевник.

Блаж все так же горделиво смотрел поверх Ибрагимовой головы, слишком далеко отбежал он мыслью от этого безнадежного места, чтобы возвратиться сюда для удовлетворения чьего-то любопытства, зато Моргай возмущенно встрепенулся на Ибрагимов вопрос и бросил в ответ коротко и твердо:

– Мы сдержали.

– Позвольте напомнить, что это неправда, – усмехнулся Ибрагим. Белград выбросил белый флаг в знак сдачи, а потом снова стал обороняться. Что это, как не измена? Всемогушественный султан...

– Флаг подняли слабые духом. Такие, к сожалению, находятся всегда. Мы же не обещали сдаваться никому и никогда. Мы дали слово защищать крепость, и мы защищали ее до последнего.

– Какая-то жалкая тысяча защитников против всемогущественного исламского войска?

– Разве храбрость зависит от числа? – вскинулся Блаж. – За нами стояла вся наша земля.

– Это земля турецкая. Султан Баязид Ильдерим подарил эту землю сербскому деспоту Стефану Лазаревичу, и тот построил здесь крепость.

Блаж терпеливо пояснил:

– Этот берег Дуная дал Стефану венгерский король. И с тех пор венгры обязались помогать своим сербским братьям. Наш воевода Янош Хуньяди прогнал отсюда самого султана Завоевателя, перед которым склонился Царьград.

– Но вам не удалось повторить подвига Хуньяди? – засмеялся Ибрагим.

– Зато мы не изменили своей земле, – упрямо сказал Блаж, как бы намекая на то, что он, Ибрагим, несмотря на его нынешнее величие и власть над их жизнями, в конце концов, просто мелкий ренегат и более ничего.

Любого это довело бы до бешенства, но Ибрагим оставался холодным и спокойным.

– У вас есть какие-нибудь желания? – почти кротко спросил он.

Блаж не ответил. Моргай пожал широкими плечами. Какие еще желания у людей, до конца выполнивших свой долг и имеющих полное право считать, что таким образом исполнили свое предназначение на земле...

И это произнесенное слово «земля» превращалось в оскорбление и обвинение уже самого Ибрагима, он это почувствовал и понял и мысленно поблагодарил Бога (какого – разве не все равно), что затеял эту игру с обреченными без высоких свидетелей – без султана и его визирей, а то пришлось бы ему пожалеть о своем неуместном любопытстве, но он не относился к людям, которые сожалеют о содеянном, и, поигрывая золотой саблей, лежавшей у него на коленях, небрежно произнес:

– Похваляетесь, что остались верными своей земле? Такая верность требует награды. Султан поручил мне соответственно вознаградить вас. Вы хотели этой земли – мы вам дадим ее. Вас закопают в эту землю. Закопают живыми. Яму себе выроете сами. Правда, землекопство у мусульман считается позорнейшим делом, а рытье могилы для себя крайне позорным, но что я могу поделать? Да и вы не мусульмане.

– Да, мы христиане, – твердо произнес Блаж. – И поэтому рыть для себя могилы мы не станем, даже если бы с нас живьем сдирали кожу.

– Такая возможность существует, – усмехнулся Ибрагим, – но вы захотели земли...

И он, подражая султану, едва заметным движением руки велел убрать обреченных с глаз.

И эти люди для него уже не существовали. Были давно мертвы. Он и разговаривал с ними из простого любопытства. Узнать, что говорят мертвые. Живые ему нравились больше. Были почтительнее.

Блажа и Моргая закопали живыми в тот же день между четвертой и пятой молитвами. Свидетелями нечеловеческой кары были все венгры – им Сулейман даровал свободу после этого страшного зрелища – и плененные в Белграде сербы.

Ибрагим наблюдал за казнью со своего черного (как и у султана) коня в золотой сбруе. Лишенные одежды, связанные крепкими веревками, брошенные на дно глубоченной ямы, выкопанной под высоким берегом, на котором стоял истерзанный, закопченный, поверженный Белград, Блаж и Моргай не просили о пощаде, ни стопа, ни вскрик не прозвучало из ямы, когда с торопливых лопат дурбашей⁵¹ посыпалась на них безжалостная земля. Ибрагим представил себе, как земля засыпает живой красивый рот Блажа, глубоко, с наслаждением втянул в себя ласковый дунайский воздух и с новой для себя омерзительной радостью в душе поскакал к султанскому шатру.

Сулейман уже разослал всем, кого надо было обрадовать или напугать, фетх-наме⁵² о том, что Белград в его руках. Теперь, сидя в своем роскошном шатре, сочинял стихи, полные горечи, меланхолии и тоски. Не спрашивал о венграх у Ибрагима, пили вино, султан читал газели о тщете богатства, славы, могущества.

– Нравятся мои газели? – спросил своего любимца.

– Для вашего величества нет невозможного, – весело отвечал наглый грек. – У вас возникло желание сочинить газели, и вы его выполнили. Кто может помешать?

– А собственное неумение?

– А кто посмеет заметить вашу неумелость?

– Когда я сочиняю стихи, я перестаю быть султаном Сулейманом. Тогда я поэт, который зовется Мухибби.

– А кто посмеет разъединить великого султана и застенчивого Мухибби?

Двенадцать дней оставался султан в Земуне. Оттуда кораблем или по мосту часто перебирался в Белград, охотился в окрестных лесах, смотрел, как чинят башни и стены, созвал диван, раздавал награды и подарки.

Самым первым наградил Яхья-пашича Бали-бега, вызвав его из Сланкамня. За полное разрушение Срема (тот сжег и сровнял с землей гарода Купиник, Митровицу, Червеч, Илок, срезал подчистую все живое, что поднималось над землей, создал широкий пояс опустошенной ничейной земли). Камни сремских городов везли теперь для восстановления разрушенного Белграда.

Две тысячи плененных сербов – женщин, детей, стариков – под янычарской охраной султан приказал гнать пешком в Царьград. Гнали их три месяца. Через Ниш, Софию, Пловдив, Эдирне, через горы, реки, болота. Плач и стон неслись по горам и лесам.

И скорбная песня шла за ними, песня о тех сербских юношах, которые пали под Белградом и уже не встанут никогда:

Под Белградом конек стоит вороной,
А на том коне
С кровью на виске
Сидит милый мой.
Хочешь, милая, знать, как идет война?
Из коня моего,
Из меня самого
Кровь течет красна.
Хочешь, милая, знать, что у нас на обед?
Конина сухая
Да вода из Дуная,
Такой наш обед.

⁵¹ Дурбаша – палачи.

⁵² Фетх-наме – послание о победе.

Хочешь, милая, знать, где почию я?
Во широком поле,
Во темном раздолье
Могила моя.
Хочешь, милая, знать, кто у нас звонари?
Сабли да булаты,
Выстрелов раскаты,
Трубы до зари⁵³.

Несли с собой иконы и мощи святых. Люди выходили им навстречу, чтобы поклониться святыням и их страданию, выносили хлеб и воду, вино и мясо. Откуда только могло взяться здесь после разорения султанскими душегубами? Гонимые несли с собой мощи святой Пятницы, выпрошенные когда-то у крестоносцев из Византии болгарским царем Йованом Асе-ном и перенесенные им в свою столицу Тырново. Перед турецким нападением на Болгарию мощи были спрятаны в Вене, а потом княгиня Милица упростила своего зятя султана Баязида отдать их сербам. С тех пор Белград был местом хранения Тырновской Пятницы. «Прише-ствием твоим сербская земля обогатится», – говорилось в церковной службе святой Пятницы.

Еще несли с собой чудотворную руку царицы Феофано, жены Льва, царя премудрого, а также икону Богородицы, писанную евангелистом Лукой.

Сулейман позволил людям выходить на дорогу, целовать иконы и мощи, но за плату. Деньги должны были идти в султанскую казну.

В Царьграде султан повелел греческому патриарху выплатить за реликвии двенадцать тысяч дукатов, если тот не хочет, чтобы их бросили в море.

Тогда Сулейман еще не был назван Кануни – Справедливым, но он старался проявлять свою жестокую справедливость на каждом шагу.

На прощанье еще долго смотрел с высокого белградского берега на слияние Дуная и Савы. Гулямы⁵⁴ держали над султаном огромный (шелк и золото) султанский чадор⁵⁵. Никто не смел ступить в просторный круг тени, образуемый чадором. А сам султан как бы прятался в том кругу, не осмеливаясь ступить за его пределы. Имея такую империю, ограничиваться клочком тени под чадором? Такова малость человека, ибо что такое человек перед миром и стихиями! Две исполинских славянских реки текли у него под ногами, стлались ему к ногам и не стлались, норовистые, непокорные, могучие. Ореховые воды Дуная, глубокие и загадочные, плыли спокойно и мощно, а Сава катила с гор водовороты глины, ила, пены, ударялась с разгона в пречистое тело Дуная, мутила его глубокие воды, загрязняла. Дунай отталкивал Саву; какое-то время они мчались рядом двумя неистовыми потоками – один темный, ореховый, чистый, другой желтоглиняный, не вода – сплошная грязь. Дунай не давался, отталкивался от загрязненной Савы, но желтые потоки растекались шире и шире, затягивали в свою муть новые и новые светлые слои воды – и большая река сдалась, дала себя полонить, мечась и вздрагивая, точно в конвульсиях, плыла теперь к морю такой взбаламученной, как души людей, охваченных несчастьями, преступлениями и ненасытной жадой власти. Не так ли мутна и его душа? Сулейман не мог найти в себе силы оторвать взгляд от слияния рек.

В Стамбул возвращался без войска. Шел быстро, с короткими ночевками и передыш-ками. Семьдесят пять дней понадобилось ему, чтобы дойти от Стамбула до Белграда, трид-цать дней потратил на захват города и еще тридцать один день возвращался назад в столицу. Странно было, как могло еще в той земле остаться что-то живое!

⁵³ Перевод Виктора Есипова.

⁵⁴ Гулямы – стража.

⁵⁵ Чадор – зонтик.

В одном сербском селе Сулеймана встретила весть о смерти его самого младшего сына Мурада. Только старый Пири Мехмед отважился передать султану тяжкую весть. Любой другой за такое известие мог бы поплатиться головой, но какая рука поднялась бы на седины старого визиря? Султан печально ответил строками из Корана: «Если бы Аллах желал взять для Себя ребенка, то Он избрал бы что Ему угодно из того, что творит. Хвала Ему! Он Аллах, единый, мощный!»

Два дня после получения вести о смерти сына Сулейман отдыхал. Дважды присутствовал на конных состязаниях, принимал участие в охоте, рассматривал с коня старую сербскую церквушку. Когда любовался конями на состязаниях, вспоминал слова: «Вот представлены были ему вечером легко стоящие, благородные». Верил, что вечный Бог и счастье повелителя не оставят его, – родился ведь, чтобы владычествовать, и должен исполнить свое предназначение. «И подчинили Мы Ему ветер, который течет, по Его повелению, легким, куда Он пожелает, – и шайтанов, всякого строителя и водолаза и других, соединенных в цепях». Двинулся на Стамбул. Никого не хотел видеть в дороге, кроме Ибрагима, Пири Мехмеда и старого Касим-паши. В Эдирне призвал к себе Ахмед-пашу, которого полюбил за храбрость, проявленную под стенами Белграда. Не пугало его то, что в Стамбуле свирепствовала чума, за которой шла черная оспа, безжалостно унося маленьких детишек.

Когда в Стамбуле французский посол станет через великого визиря умолять султана, чтобы он выпустил его из охваченной моровой язвой столицы, Сулейман гневно и в то же время с изумлением воскликнет: «Чего он хочет и куда бежит? Разве он не знает, что чума – это божья стрела, которая никогда не бьет мимо цели? Если Бог захочет его умертвить, никакое бегство и исчезновение не помогут. Человек всегда стоит перед неизвестностью. Чума вошла и в мой дворец, но я же не оставляю его».

В столицу Сулейман возвратился без пышности, без триумфа, незаметно переправился усталой коврами султанской баркой от Силиврии, сошел на берег в садах гарема, заперся в своих покоях. Через два дня умерла его маленькая дочка, не получившая даже еще имени. Еще через восемь дней черная оспа забрала перворожденного султанского сына Мехмеда. Три маленьких тельца, поставленных в табутах⁵⁶ к ногам покойного султана Селима, забрали с собой любовь Сулеймана к Махидевран. Черкешенка обезумела от горя. Столько радости доставляла своим ладным, округлым, холеным телом и детьми, которых рожала легко, охотно и радостно, а теперь все утратила в несколько дней, и хоть оставался в живых трехлетний сын султанский Мустафа, она чувствовала: короткие годы ее возвышения кончились без возврата.

Сулейман не хотел более видеть свою жену. Горлица подстрелена – зачем лук?

⁵⁶ *Табут* – открытый гроб, в котором переносят покойников.

Хамам

Всю жизнь в четырех стенах, заточенные заживо, погребенные. Поэтому с такой радостью вырывались раз в неделю за стены и железные ворота Баб-ус-сааде, в день, отведенный на хамам – турецкую баню, роскошь и негу Востока, блаженство для тела и для души, особенно когда душа заточена еще больше, чем тело.

Хуррем не знала, что это за хамам, и поначалу отказывалась туда ходить, довольствуясь гаремной купальней. «Чего я там не видела?» – отвечала она кизляр-аге, когда тот объявлял день похода в хамам. Противно было подумать, что евнухи погонят тебя в отаре одалисок, что с целой отарой будешь плескаться в той их бане, весь день просидишь там, обедаясь, скучая, в ожидании темноты, поскольку только в сумерках можешь покидать стены гарема и в сумерках возвращаться, чтобы ни единый мужской глаз не осквернил священной собственности падишаха.

Почему же изменила самой себе и пошла наконец в хамам? Не знала и сама. Бледнело небо по ту сторону моря, над серо-синими волнистыми горами Ускюдар, над горой Бургурлю, на вершине которой сатана искушал Христа, показывая ему чарующую картину Константинополя. Тоскливо воркотала где-то в деревьях горлинка, звала ее домой, домой, домой... А где твой дом, Настася? Где твой дом? И Настася ли ты еще или уже только Хуррем? И кого тебе теперь слушать – горлинку или собственное сердце? Любовь, мудрость и птицы не знают отчизны. Они перелетны и вездесущи, как тоска и отчаянье. А ты разве перелетная? Зачем и почему ты здесь, так далеко от Рогатина, от своего дома? А где теперь ее дом? Страшно подумать. Хотела найти на блеклом небе хотя бы одну звезду, звезду не свою, но хоть для себя. В Рогатине, когда была девочкой, была у них с подружками забава – искать свою звезду. Хотелось самой яркой. Чтобы освещала всю душу, чтобы смех брызгал с ее алмазных лучей, чтобы возносилась твоя гордость в недостижимость и беспредельность миров, выше птиц, выше облаков и самого неба. И тут небо тоже высокое, как и дома, и то же солнце, и звезды словно бы те же. Только месяц чужой. Какой-то опрокинутый, как челн, что плывет неведомо куда, а с ним отплывает твоя душа. «Ой, не світи, місяченьку, не світи нікому!» А тут поэты ищут в месяце утешения и спасения от душевных мук: «Когда становится грустно, то надо тебе посмотреть, как по изумрудному морю плывет золотой корабль».

Заплетаясь в широких шароварах, еще сонные, вяло перебрасываясь словами, выходили гаремницы за врата Баб-ус-сааде, евнухи перекликались вокруг них, как пастухи, служанки, чуть не надрываясь, тащили тяжелые кошелки с кушаньями и напитками на целый день, каждая из женщин несла для себя в больших вышитых суконных мешках – бохчах – простыни, мыло, благоухания, ароматные мази. Темная громада Айя-Софии, где правоверные совершали свой предрасветный намаз, надвинулась и отодвинулась, еще какие-то строения, каменные или деревянные, разве разберешь, а потом замшелые купола приземистого причудливого сооружения без окон, без дверей, как в загадке: «Без окон, без дверей – полна горница людей». Дверь нашлась, незаметная и приземистая, как и само строение. И людей стала полна горница, когда теплая волна гаремниц заполнила хамам. Внутри еще царила темнота, ибо все помещение освещалось только через небольшие круглые прорезы в куполах. Женщины шумливо, торопясь, раздевались меж высоких колонн, окружавших круглый просторный зал, пышный приятным сухим теплом. Складывали свою одежду, свои бохчи на резных деревянных скамьях, завертывались в яркие простыни – пештемалы, разбредались по бане, никем не охраняемые, обретшие временную свободу хотя бы в этом каменном средоточии тепла, воды и покоя. В круглом зале раздевальни посреди мраморного пола бил фонтан, от него отходили уступами мраморные чаши, все уменьшаясь. Вода тихо журчала, переливалась из больших чаш в меньшие, и, как бы вторя голосу воды, безумолчно пели желтые канарейки в клетках, украшенных голубыми

бусами – бонджук. Узкие двери вели в теплый соуклук, где на деревянных широких скамьях, подкладывая под головы и под бока маленькие подушечки, уже лежали, парясь, одалиски. Множество маленьких дверей вели из соуклука в комнаты для омовений, а через широкий проход можно было попасть в третий мраморный зал, где вдоль стен стояли мраморные ванны-курны и над каждой из них – бронзовые краны с горячей и холодной водой, в четырех углах, отгороженные низенькими стенками, были купальни для валиде, баш-кадуны Махидевран и султанских сестер, а посередине просторное восьмиугольное возвышение Гьейбек-таш (Камень-пуп) для тех, кто хотел изведать истинное наслаждение хамама.

Хуррем, побродив по хамаму, вернулась в зал, где пели канарейки, улеглась на теплое мраморное возвышение, которое шло вокруг залы под колоннами, не брала подушек, спрятала лицо в согнутых руках, только краешком глаза наблюдала, как медленно светлеет в зале оттого, что становились все более мощными столбики света, падавшие из стеклянных колпачков в высоком куполе. Вокруг, давно уже поснимав пештемалы, наслаждаясь вольной наготой, отлеживались одалиски, грелись на теплом мраморе, парились, исходили потом и ленью. Тело становилось как замазка. Не хотелось ни шевелиться, ни говорить, ни думать. Может, в этом тоже счастье?

Возле Хуррем, непрошено нарушив ее одиночество, примостилась белокурая полнотелая венецианка Кината. Розовая ее кожа так и пышела здоровьем, тепло входило в Кинату и щедро вырывалось из каждой клетки ее сильного тела. Рядом с этой могучей самкой Хуррем казалась даже и не девочкой, а мальчиком – маленькая, тонкая, только груди тяжелые и выпуклые, но она прятала их под себя, лежала ничком, поглядывая по сторонам своими зелеными глазами, из которых так и выпархивал смех, – да и как тут не смеяться при виде этих голых ленивиц, распаренных, разомлевших, одуревших от тепла, хотя – она не раз уже убеждалась – не стали бы они умнее и на злейшем холоде, среди снегов и морозов.

– Видела, какие подарки прислал султан Гульфем из Белграда? – горячо зашептала Кината. – Бирюза в золоте, серебряная посуда для омовений.

Хуррем поудобнее вытянулась на мраморной скамье.

– В хамам надела свою бирюзу, – не отставала Кината.

Хуррем хмыкнула:

– На верблюдах бирюзы еще больше.

– А что подарил султан тебе?

– А почему он должен дарить мне?

– Ты же была у него?

– Ну и что?

– Султаны брали свои гаремы в походы. Сулейман не берет. Ты только один раз была у султана?

– А тебе что за дело?

– И я только раз. Но ты новенькая. Я же в гареме три года. Еще из Манисы. В Манисе мы погибали от скуки. Там теснота и убожество. Как мы ждали, когда умрет Селим и султаном станет Сулейман! Как хотелось роскоши и сытости Царьграда!

– Зато уж кормят вас тут, как свиней на убой! – засмеялась Хуррем.

– Не оскверняй уст упоминанием о нечистом животном! – испуганно замахала на нее руками Кината. – Пророк запретил вспоминать его.

– А что мне пророк?

– Ты до сих пор не переменила веру? Еще носишь крестик?

– Отвяжись!

– Это же так просто – отуречиться. Поднять палец перед кадием и повторять вслед за евнухом, который тебе подсказывает: «Признаю, что есть только единый бог и Мухаммед его посланник. Признаю, что перехожу от ложной в праведную веру, и отрекаюсь от предыдущей

веры и всех ее символов». Целуешь руку кадию – и все. Мужчинам надо терпеть еще это ужасное обрезание и носить потом всю жизнь чалму, а нам так просто!

– Может, тебе и просто, но не мне, – почти сердито сказала Хуррем. Хотела еще похвалиться, что она дочь священника и потому ценит свою веру особенно высоко, но промолчала. Разве теперь имеет значение, кто ты и что ты?

– Тебя схватили татары, они благородные.

– Благородные? – Хуррем засмеялась горько и мучительно. – Кто тебе сказал?

– Султан наш зовется повелителем татар благородных. Разве ты не слыхала? А меня выкрали морские разбойники Хайреддина Барбаросы. Это страшный человек. Он хотел меня изнасиловать, как только увидел. Но решил подарить в султанский гарем и не тронул. Тут же велел принять их веру. Иначе грозился бросить в море. Если бы ты видела этого краснобородого разбойника!

– Может, лучше было бы тебе утонуть?

– Что ты, что ты! Я так хочу жить! Это вы, роксоланы, равнодушны к жизни и умираете легко и охотно.

– Умирают все тяжело.

– Я могла бы родить султану сына и стать баш-кадуной, как Махидевран. У меня тело лучше, чем у Гульфем. Только она чернявая, а Сулейману нравятся чернявые.

– Перекрасилась бы, – насмешливо посоветовала Хуррем.

– Тогда буду похожа на всех. А я не хочу.

– Так чего же тебе надо?

Хуррем посмотрела на Кинату, не скрывая презрения. Та лежала рядом, как гора молодого мяса, как поверженная белая башня, как нахальное воплощение похоти и изменности. Только представить себе, что и эта была на султанских зеленых подушках. Проклятый мир! Проклятый и заклый!

Хуррем брезгливо отодвинулась от Кинаты, но та никак не хотела от нее отвязаться, хоть ты ее режь!

– Нам с тобой не повезло, что мы такими родились, – сочувственно вздохнула она.

– Кому не повезло, а кому, может, и повезло.

– Кому же? – вцепилась в нее Кината. – Уж не тебе ли?

– А если и мне?

– Вот уж нет, – уверенно возразила венецианка. – У меня вон какое тело, и то не могу привлечь повелителя, а ты... Ребра все посчитать можно. Кости так и колются... Султан и платочек случайно опустил тебе на плечо. Намеревался на меня, а упал на тебя. Все это видели...

И теперь уже она отодвинулась от Хуррем и застрекотала с другой одалиской, хвасталась, как провела ночь с султаном и как тот сказал, что ему понравилось ее тело. Тут она вспомнила, что не спросила у Хуррем самого главного, и, забыв обиду, какую могли нанести Хуррем ее последние слова, снова переползла к ней, тяжело шлепая по мраморным плитам пышными бедрами.

– А что тебе сказал султан после?

– Ничего.

– Ни словечка?

– Может, и ни словечка.

– Да ты что, забыла?

– Может, и забыла.

– Разве можно забывать слова повелителя?

– А я не поняла.

– Говоришь вон как живо, а там – не поняла?

– Тогда еще не умела говорить, теперь говорю.

– Уже и тогда умела.

– Отстань!

Хуррем встала и пошла через соуклук туда, где шумела и клокотала вода, но когда ступила в зал Гьейбек-таш, ударили ей в уши визгливые женские голоса, переплетались с журчанием воды, талалаканья и галалаканья, шепоты и сплетни, вздохи и смех. Где тут спрячешься, куда подашься?

Она вошла в Гьейбек-таш, который весь сплывал водой и мыльной пеной. Может, хоть здесь найдет спасение от этого шумливого одурения. Только растянулась на горячем мраморе Гьейбек-таша, как на нее, не спрашивая, молча накинута жилистая усатая бабища с шершавыми, как у кожемяки, руками, схватила голову Хуррем, стала безжалостно тереть лоб, виски, скулы, челюсти, потом принялась за шею, за руки, ноги, пальцы, груди, живот, бедра, била, лупцевала, растягивала, сжимала, выкручивала руки и ноги, играла на позвонках и на ребрах, как на цимбалах, упиралась коленями в спину, подпрыгивала, кряхтела, урчала, потом стала вытанцовывать на Хуррем, топтала ее ногами. Хуррем стонала, охала, вскрикивала и уже не знала, где боль, где удовольствие, где жизнь, где смерть. Вот что такое хамам!

Потом рукавицей из козьей шерсти бабища стала снимать с Хуррем пот, омертвевшую кожу, все лишнее, ненужное, под ее безжалостной рукой Хуррем линяла, как змея, словно бы заново рождалась на свет, а ее мучительница уже разводила в большом медном тазу мыло, взбивала его пальмовой мочалкой до высокой, пышной пены, напустила той пены полную наволочку из крепкого полотна, еще и надула ее и начала тереть Хуррем той наволочкой-пузырем, била, массировала, топила ее в мыльной пене, трижды вымыла волосы, смывая попеременно то теплой, то ледяной водой, долго вытирала и завертывала в сухие, теплые пештемалы, и только тогда Хуррем заметила, что за всеми этими сладостными пытками пристально наблюдала валиде.

Закутанная в красно-зеленый пештемал, маленькая и легкая, в деревянных сандалиях, украшенных перламутром и бирюзой, валиде стояла спокойно, молча, невозмутимо, словно бы не лились вокруг нее потоки воды, не летали целые облака густой мыльной пены, не клокотало все замкнутое пространство визгливыми женскими голосами. Полуприкрытые веки как бы свидетельствовали, что валиде видела все, даже больше, чем надо видеть постороннему человеку, что она перенасыщена виденным, утомлена, может, и разочарована, ибо надеялась на нечто большее от этой удивительной девушки, которую султан выделил, как только увидел среди гаремниц, а потом забыл так же неожиданно, как и облюбовал.

Заметив, что Хуррем тоже увидела ее, валиде сделала ей знак глазами, повела за собой в соуклук, дала себя догнать, пошла рядом с Хуррем, как с равной, неожиданно спросила голосом, лишенным любопытства, холодно и равнодушно:

– Ты тоже хотела бы родить султану сына?

Хуррем могла бы только рассмеяться в ответ, но ее резануло маленькое словечко «тоже», в котором слышались презрение и надменность, поэтому она почти надменно бросила на валиде быстрый взгляд, окинула султанскую мать взглядом с ног до головы, точно желая сказать: «Ты такая же маленькая, как и я, а родила ведь такого долговязого султана», но вовремя сдержалась, сказала другое:

– Я не думала об этом.

– О чем же ты думала? – возмутилась валиде.

– Вы велели мне изучать языки, я это делаю. Турецкий из ежедневных разговоров, арабский из Корана, персидский из поэтов.

Валиде хмыкнула.

– Может, ты хочешь стать ученым улемом? Женщины в гареме для того, чтобы рожать султану детей или не рожать их. Заруби себе на носу, девушка. Пойдем со мной, тебе надо побольше есть. Ты совсем невзрачна телом. «Не понесет носящая ношу другой...»

В соуклуке служанки уже разложили на широких деревянных диванах мезу – нечто вроде закуски-перекуски: копченую рыбу, морских устриц, печенку, холодный бараний мозг, вареных молоденьких баранчиков, патладжаны, тушенные в оливковом масле, брынзу с кусочками сладкой дыни, зелень, фрукты, долму из перца в виноградном листе, лукум и шербетты, йогурт и айран с чесноком.

Валиде усадила Хуррем возле султанских сестер Хатиджи и Хафизы, там уже объедались сладостями Гульфем, Кината и еще несколько толстых одалисок, любивших поесть. Хафиза, дочка султана Селима от первой жены, выданная за придворного капиджибашу, которого вскоре султан Селим за какую-то незначительную провинность велел казнить, подавленная своим вдовством, считалась в гареме милостивее красавицы Хатиджи, чванливой и мстительной, любимицы своей матери – валиде, поэтому Хуррем села возле Хафизы, которая немного подвинулась, давая ей место, и даже изобразила на лице некое подобие ласковой улыбки, хотя султанским сестрам не полагалось проявлять к одалискам ничего, кроме презрения и безразличия.

Ели с жадностью, безумолчно сплетничали, не имея сил сидеть, полулежали на широких, удобных диванах, наслаждались сытостью, теплом, легкостью в теле, блаженствовали, наибольшую же радость получали от непрерывной болтовни, хвастовства, восторгов, пересказывания ужасов, мерзостей, недозволенностей. И сама валиде, несмотря на свое высокое положение, превратилась в обычную любопытную женщину, лежала среди этих молодых сплетниц и хоть в разговор не вступала, но и не останавливала ни Хафизу, ни Гульфем, ни Кинату, у которых не закрывались рты в разговорах то о противоестественной похоти, то о неверных женах, то о богатых купцах-гяурах, не жалеющих денег за хорошо ухоженную, наученную всему гаремную жену. Рассказывали о какой-то богатой стамбульской кадуне, которая, влюбившись в молоденькую девушку и переодевшись мужчиной, соблазнила отца девушки огромным калымом, справила свадьбу, но в первую же «брачную» ночь обман был раскрыт, девушка вырвалась от похотливой бабы, подняла крик, кадуну поставили перед стамбульским кадием, и когда тот стал допрашивать ее, она воскликнула: «Вижу по всему, честный кадий, вы не знаете, что может значить любовь для нежного сердца. И пусть хранит вас Аллах, чтобы вам никогда не довелось почувствовать всю жестокость того, что пережила я». Кадий чуть не умер со смеху, слушая ошалевшую бабу. Чтобы она остыла, приказал зашить ее в кожаный мешок и бросить в Богазичи, что и было сделано.

За прелюбодеяние в Турции нет мягких кар. Когда ночная стража схватит где-нибудь прелюбодеев, то бросают их в зиндан⁵⁷, а наутро ведут к субаши⁵⁸, тот, по обычаю, велит посадить блудницу-жену на осла, к голове которого привязывают олени рога, а ее любовник должен взять осла за повод и провести через весь город на всеобщее посмеяние. Впереди идет слуга от субаши и дует в рог, созывая люд, любовников забрасывают гнилыми апельсинами, камнями, когда же они, опозоренные, полуживые, возвращаются домой, то женщину еще заставляют заплатить за осла, словно она его нанимала для такого развлечения, а мужчине дают сотню ударов по пяткам или же берут откупного по аспре за каждый удар.

– Разве и Хуму возили на осле? – спросила Кината.

– Хума из царского дома, – чванливо ответила Хатиджа, – а султанским дочерям не положено то, что низкородженным.

– Не надо про Хуму, – вмешалась валиде, сбрасывая с себя сонливость, в которую погружалась под монотонное журчанье голосов.

– А пусть они знают! – не послушалась Хафиза, видимо не любившая валиде. – Ты же не знаешь про Хуму? – спросила она у Хуррем.

⁵⁷ Зиндан – подземная тюрьма.

⁵⁸ Субаши – должностное лицо.

– Не знаю.

– И я не знаю! – бросилась к Хафизе Кината. – Слышала, а знать не знаю.

– Бали-бег покрыл себя неумирающей славой под Белградом, – сказала валиде, – негоже трепать языком о его жене.

– Бали-бега назовут Гази, величайшим воителем священной войны, – повернулась к ней Хафиза. – А что с того? За шестьдесят лет своей жизни он насобирал столько титулов и званий, что хватило бы на тысячу воинов, а кому от того польза?

И она, издеваясь, принялась перечислять титулы какого-то неведомого Хуррем Бали-бега: крепкий столп, высокое знамя, великий прорицатель из прорицателей, величественный, как звезда Юпитер, сияющий, как утренняя заря, пылающее острие меча, занесенная над шеей божьих противников и врагов пророка сабля, слава борцов за веру и подвижничество, уничтожитель неверных и многобожцев, обладатель высоких достоинств и недостижимых ступеней, за доброту нрава и щедрость возносимый до небес, благодарный Господу за дарованные ему блага. Этот человек швырял под копыта своего коня целые земли, оставлял позади себя целые горы трупов, но не способен оказался на то, на что способен последний бедняк, – не удержал свою жену.

– Говорят, он маленький, как прыщик, – засмеялась Гульфем. – Его и зовут Кучук Бали-бег. Как же он мог удержать Хуму?

Бали-бег был сыном Яхья-паши, великого визиря султана Баязида. Яхья-паша был женат на султанской сестре, родившей семь сыновей, в том числе и Бали-бега. За Бали-бега султан Баязид выдал свою дочь Хуму. Хума была так же далека от целомудрия, как ее муж от милосердия. Она упорно вырывалась из гарема Бали-бега, ссылаясь на свое желание вернуться в султанский гарем в Стамбуле, но по дороге всякий раз цеплялась за какого-нибудь мужчину, обманывая или подкупая своих евнухов-надсмотрщиков, ненасытная в любовных утехах, вожделеющая к новым и новым сообщникам греха. Наконец в Стамбуле она по-настоящему влюбилась в молодого чтеца Корана в Айя-Софии хафиза Делак-оглу и даже родила от него девочку. Стамбульский кадий, не смея поставить перед собой Хуму, прогнал Делак-оглу из джамии, и тот отправился в Эдирне. Но в Баба Эскерии он умер от чумы, и когда Хума узнала об этом, то оставила сераи, метнулась в Ени Хисар, откуда тайком пробралась до могилы Делак-оглу, откопала тело, убедилась, что он действительно мертв, вновь зарыла, вернулась в Стамбул и закрутила, как прежде с Делак-оглу, с его братом, тоже хафизом. Когда же молодой хафиз изменил Хуме, она плюнула ему в лицо и утешилась с придворным луноликим конюхом, потом взяла еще раба-черкеса, потом еще одного раба-конюха, затем какого-то чауша, прислужника джамии султана Ахмеда, – и все это не за свою необыкновенную красоту, а за деньги, за дурные и несметные деньги. И так тянулось до тех пор, пока Бали-бег, не выдержав позора, не пожаловался султану Селиму, и тот укрыл свою сестру где-то на островах, подальше от соблазнов.

Не зная, что можно сказать на такие странные рассказы, Хуррем запела припевочки: «Чи ти мене вчарувала, чи трутівки дала, ой що ж бо ти мені розум зовсім відібрала? Ходжу, нуджу, гукаючи, говорю з собою: «Чи ти тужиш так за мною, як я за тобою?»

Пение ее отозвалось эхом в гареме и в разнеженности хамама, нашло отзвук и там и сям, запели и другие одалиски, песни были печальные и безнадежные, протяжные и короткие, как вскрик, молодые голоса ударялись в высокие каменные своды, падали вниз, точно раненые, некоторые лились ровно и несмело, другие дерзко взлетали вновь и вновь под самый купол, точно хотели пробиться наружу через те стеклянные колпачки, что впускали в хамам узкие струи яркого солнечного света. Хуррем запела новую: «Посіяла-м руту круту поміж берегами; ой, як тяжко мені жити поміж ворогами! Що ж я маю та й бідненька з ними учинити, кого ж бо я вірно люблю, з сим мені не жити. А вже ж моя рута крута береженьки поре, а вже ж мої вороженьки попід боки коле. Ой, піду ж я руті круті верхи позриваю, вороженьки спати ляжуть,

я си погуляю. Колом, колом по-над водом, там стеженьки в'ються, часом душа невинная, люде набрешуться...»

В соуклуке появился кизляр-ага, нарушил неприкосновенность хамама, за что незамедлительно и поплатился, покрывшись обильным потом. Четырехглазый нашел взглядом валиде, направился к ней. Никто даже не закрывался от глаз черного дьявола, который и без того видел не раз каждую из них в чем мать родила. Кизляр-ага уже давно воспринимался ими не как живой человек, а как нечто вроде подвижного орудия султана, этого султанского прислужника ненавидели они тяжело, люто.

Кизляр-ага поклонился валиде, прижав сложенные лодочкой руки к груди, печально произнес:

– Умер сын нашего высокого повелителя Мурад.

Только теперь Хуррем вспомнила, что возле них нет Махидевран.

В Стамбул пришли чума с черной оспой.

Лестница

Прошлое, даже отступая, не исчезает в человеке бесследно, оно переплетается с настоящим, порой лишь маячит на горизонтах сознания, всплывает в мучительном воспоминании или же приходит в снах.

Кто она – Хуррем или Настася? Что в ней перевесит для нее самой и долго ли она удержится в неестественной своей раздвоенности, когда прошлое отнято у нее навеки, а настоящее призрачно, неопределенно и тревожно?

В ту ночь, когда султан высадился из своей барки в садах гарема, пришли к ней два страшных сна.

Первый был для Хуррем, собственно, и не сон, а страшная явь вымирающего Стамбула.

Мертвые дома, мертвые улицы, огромные черные возы вывозят трупы за ворота Стамбула, везут их навстречу победоносному войску, которое султан ведет из-под Белграда. Черные люди, в просмоленной черной одежде, вытаскивают умерших из домов, подбирают на улицах, во дворах мечетей, на базарах. Закрыт Бедестан, опустели мечети, не раздаются с высоких минаретов звонкие азаны муэдзинов, всюду только следы смерти, пожаров, грабежей, эти жуткие возы, полные трупов. Черные возы, черные кони, черные люди в черной, просмоленной одежде и черные костры за воротами Стамбула, на которых сжигают трупы.

И вот она идет по мертвому Стамбулу, и нигде ничего живого, ни человеческого голоса, ни пения птиц, ни звериного рыка – только мертвый всплеск воды в мраморных фонтанах, на плитах которых упорно повторяются слова Корана о том, что только вода дарует всему жизнь; идет по Стамбулу не Настася, а Хуррем, султанская жена, баш-кадуна, а ей навстречу через Эдирне-капу входит султан Сулейман, без свиты, сам-один, и не на коне, а пеший, весь в золоте, печальный и несчастный, и протягивает к Хуррем руки, умоляя о чем-то, и тогда она видит, что золото на нем такое же черное, как все в мертвом Стамбуле.

Ни проснуться, ни застонать от жуткого зрелища смерти, потому что брошена она в пропасть нового сна, теперь уже сна для Настаси, для той, что была где-то и когда-то, но и для той, что есть здесь, раздвоенная между прошлым и настоящим, между жизнью и прозябанием, которое невыносимее и тяжелее смерти.

Как будто послала ее мамуся Александра в погреб снять с отстоявшегося молока сметану в крынку – пекла для батюшки Гаврилы пирожочки с творогом, из простого теста, на сковородке, смазанной сливочным маслом (смазывала сковородку перышками), горячие пирожочки с холодной густой сметанкой батюшка очень любил на похмелье, а еще больше любил похвастаться теми пирожочками: его Александра умела их печь так, как никто не только в Рогатине, но, пожалуй, и в самом Львове, а то и в Кракове.

Погреб был во дворе, близ малинника, большой и глубокий, в погребице перед перекладной висели пучочки сухих трав, которые мамуся собирала для ведомых только ей нужд, тяжелая дубовая дверца закрывала люк так плотно, что поднять ее мог разве что сильный мужчина, но Настася давно уже приноровилась закладывать в большое кольцо на дверце палку-рычаг и ловко поднимала ее – ведь в летний день приходилось иногда бегать в погреб не раз и не два, а помощи от батюшки женщинам семьи Лисовских нечего было ждать. Держась за деревянный брус рамы, Настася ступила на верхнюю ступеньку лестницы, нащупала ногой следующую ступеньку, перенесла тяжесть тела на другую ногу и вдруг почувствовала, что ступенька обломилась под ней. Насилу удержавшись за брус, она рухнула всем телом вниз, зацепилась за последующую ступеньку босыми ступнями, осторожно продвинула руки по стоякам лестницы, держалась, собственно, больше руками, чем на той ступеньке, когда же стала нащупывать ногой следующую ступеньку, то та, на которой она стояла, тоже обломилась, и девушка сползла вниз, чуть не закричав от испуга, не в силах удержаться одними руками. Та новая ступенька,

как только она ударилась об нее ногами, обломилась так же неслышно и выпала из стояков, как гнилой зуб. Настася поехала вниз теперь уже неудержимо, руки ее бессильно скользили по холодным осклизлым стоякам, ступеньки выламывались одна за другой, словно бы их кто-то подпилил или сгнили они все разом и именно сегодня должны все выпасть; крыночка для сметаны, которую она поставила у дверцы и должна была взять, как только станет устойчиво на лестнице, так и осталась там, наверху, а Настася сорвалась с лестницы, упала на холодное глиняное дно погреба, сильно ушиблась, но почти не ощутила боли, мигом вскочила на ноги, глянула вверх, увидела прислоненную к крутой стене высокую лестницу с верхней и двумя нижними уцелевшими ступеньками, лестницу, по которой никто уже не сможет ни спуститься сюда, ни выбраться отсюда, в бессильном отчаянье затрясла то, что осталось от лестницы, подпрыгнула зачем-то, хотя знала, что не допрыгнет никогда до той верхней ступеньки, в неудержимой ярости застучала кулачками в крутую стену погреба. Земля, желтая, холодная, склизкая, равнодушно восприняла бессильные те удары маленьких кулачков, так же равнодушно восприняла бы и Настасины слезы, но девушка и не собиралась плакать, она закричала изо всех сил, голосом, еще полным надежды, без отчаянья и растерянности, ибо все напоминало бессмысленную шутку. Кто-то же да услышит!

Она кричала долго и тщетно. Никто не приходил выручать ее, никто не слышал, не обеспокоилась мамуся ее исчезновением. Но ведь должны обеспокоиться!

Она снова закричала, может, еще громче и с еще большей надеждой, и в самом деле помогло, кто-то услышал, кто-то прибежал к погребу, заглянул вниз и без размышлений прыгнул к Настасе. Не помощь, а еще один соучастник ее несчастья?

Но неизвестный не считал себя жертвой, пожалуй, и не заботился о помощи Настасе. Мигом кинулся подбирать ступеньки, жадно сгребал их в охапку, сгибался над ними, чуть не ползая на карачках по дну погреба, и упорно повертывался к девушке спиной, словно бы хотел заслонить свою ненужную добычу.

Настася пристальнее посмотрела на того странного человека и с ужасом почувствовала, что уже никакая она не Настася, а... Хуррем, и не в Рогатине она, а неведомо где, и человек этот не кто-то неизвестный и чудной в своем ретивом собирании ненужных деревянных чурок, а ближайший султанов прислужник и любимец грек Ибрагим, купивший ее на Бедестане и подаривший Сулейману в гарем. Ибрагим был одет как дильсиз из свиты султана. В дамасковом ярком кафтане, подпоясанном в три обхвата поясом из крученого шелка, в шелковых тонких штанах, в высокой шапке, покрытой листком золоченого серебра. Сбоку за поясом у него был дорогой кинжал, украшенный слоновой костью. Все это – шелк, золоченое серебро, слоновая кость, странная одежда – так не шло к рогатинскому погребу, что Настася чуть не засмеялась в округлую Ибрагимову спину. А он тем временем, мгновенно размотав с себя тонкий пояс (этими поясами страшные дильсизы по султанскому повелению душили людей), стал связывать собранные ступеньки, еще больше округляя спину и жадно нагибаясь над своей добычей, а потом отскочил в самый дальний угол погреба и, поблескивая густыми острыми зубами, засмеялся Настасе (или Хуррем?) и крикнул по-гречески:

– Ага, у меня есть, а у тебя нет!

Ей даже невдомек было, что она понимает по-гречески, – так удивлена и напугана была неожиданным появлением Ибрагима и всем этим происшествием. Только что была непуганой, теперь стала напуганной. Непугана-напугана. Два слова бились в ней, как птичка в клетке, наполняли сердце отчаяньем и безнадежностью. Непугана-напугана.

А Ибрагим кружил вокруг нее, подпрыгивал, не выпускал из рук охапку ступенек, опутанных длинным шелковым шнуром, и то и дело выкрикивал свои дурацкие слова на разных языках, которых Настася еще не могла знать, но которые – о диво и ужас! – понимала!

Отступая от Ибрагима, отыскивая опору (или защиту?), она ощутила сквозь тонкую кофтенку холодную осклизлость лестничного стояка и теперь уже не отступала оттуда, стояла на

дне глубоченного, как безнадежность, погреба, а Ибрагим все прыгал, торжествуя, но постепенно утихомирился, остановился, поглядел на девушку внимательнее, и она увидела в его глазах такой же испуг, какой ощущала и в своих собственных. Он все понял. У него были ступеньки, но без лестницы. Она завладела лестницей, хоть и без ступенек.

– Отдай мне! – показал он рукой на высокие стояки, скрепленные лишь сверху и внизу тремя поперечинами.

– Не отдам! Отдай ты!

– Не отдам! Ты отдай!

– Тебе – никогда!

– А я отниму!

– А я не дам!

Он бросился было к ней, но испугался, что и впрямь может потерять свое, вильнув спиной, отбежал подальше. А она боялась оторваться от своего, схватилась за стояки обеими руками, выпятила грудь – попробуй подойди!

Проклятие и нелепость! Забыла, что должна кричать, звать на помощь, забыла, где она и кто, следила только за движениями своего противника, за коварной игрой его глаз и нервного лица, знала, что должна любой ценой отобрать то, что он держит, и ни за какую цену не отдать свое, но не видела для этого никакого способа, кроме одного – уничтожить этого человека, убить его решительно и безжалостно, тогда поставить ступеньки на место и выбраться на волю. Она никогда никого не убивала. Ну и что? Пока была Настасей, не убивала и не стала бы убивать ни за что. Но теперь она Хуррем, а кто знает, что это за женщина? И знает ли она сама о себе хоть что-нибудь?

– Подойди ко мне, – холодно сказала она Ибрагиму. – Подойди, я должна тебя убить.

И от ужаса проснулась.

Лежала почти голая на своей низкой постели, съежившись то ли от холода, то ли от страха, уже и сбросив с себя сон, не могла пошевелиться, только мысль мучительно билась в ней, ужасающая мысль о том, что вся жизнь вокруг нее, в сущности, не что иное, как глубочайшая безысходность, на дно которой брошено множество несчастных людей, и одни из них обладают стояками лестницы, другие – ступеньками, каждый из всех сил защищает свою собственность, никто не хочет поделиться с другим, помочь другому, помогая тем самым и себе, и потому всем им суждено оставаться на дне, в безысходности, в безнадежности навсегда и навеки, ибо это неизбежно, как судьба, и никто не в состоянии что-либо изменить.

– Проклятый мир, – шептали неслышно ее губы во тьме, – проклятый, проклятый! Мамуся, спаси меня!

Жуткий тонкий стрекот наполнял темноту покоя, темнота была сплошным тоскливым стрекотаньем, точно мириады крохотных железных жал летели отовсюду, ударялись друг о друга, раскаленно клевали ее нежную кожу, все тело и стрекотали, стрекотали сухо, тоненько, словно бы даже повизгивая. Хуррем вспомнила, что с вечера не закрылась муслиновым пологом от москитов. Может, и сны от этих невыносимых москитов?

Аистенок

Мудрая уста-хатун, старая турчанка, приставленная для обучения султанских дочерей и молоденьких одалисок гарема, рассказывала Хуррем про османских султанов и про их предков-сельджуков (кого убили, кого задушили тетивой лука, кого отравили, кто умер смертью таинственной и страшной), знания, переплетались в ней с ее долгой-предолгой жизнью, собственно, вся ее жизнь стала теперь сплошным знанием. Темнолицая, усатая старуха была набита таким множеством историй, что их хватило бы на тысячи таких жадных умов, как у молодой полонянки с Украины, и из тех ее историй запомнилось Хуррем с особенной силой повествование про анатолийских орлов и перелетных аистов.

Правда или выдумка, но ведь какая жуткая!

Будто бы всякий раз ранней весной, когда из Египта летят на далекую Украину стаи аистов, встречают их на пути темные стаи анатолийских орлов. Орлы собираются с отдаленнейших гор на побережье Эге Дениза, и когда утомленные перелетом через море аисты пробуют перебраться с Эгейских островов на материк, над белыми от солнечного зноя горами мирных странников встречает смерть. Испокон веков живут под тем голубым, вылинявшим от зноя небом, среди белых камней могучие орлы, и никогда они не подпускают никого, кто хочет проникнуть на материк с моря и островов, повисают над безлюдными, опаленными солнцем горами мрачной летящей стеной, бьют насмерть все живое – все идущее, ползущее, бегущее и летящее.

Аисты знают, какая судьба уготовлена им над белыми горами, но знают также и то, что где-то далеко-далеко ждут их огромные реки со сладкой водой, ждут беспредельные плавни, озера и непроходимые болота, все они, от могучих аистов-вожаков до молоденьких аистят-первогодков, родились в тех далеких зеленых краях и должны возвращаться всякий раз туда, возвращаться снова и снова, всегда и вечно, ибо их аистина перелетная жизнь есть не что иное, как беспрестанное возвращение к местам своего рождения, к тому, что навсегда остается самым родным. Хоть дорога далекая, тяжелая и кровавая, хоть многие из них не долетят, не прилетят и не вернутся никогда, но все равно надо всякий раз биться грудью, крылами, через силу, в отчаянном клекоте прорываться и пробиться к родной отчизне – не остановят их преграды, препоны, опасности и чья-то злая воля!

Тысячи лет летят так аисты, не меняя своих путей, и тысячи лет встречают их над морем мрачные орлиные стаи, которые пытаются скинуть аистов назад, в море, отогнать от своего материка, побить, растерзать, уничтожить, но не отступают аисты, не пугаются, смело и отчаянно идут грудь на грудь, крыло на крыло, старые вожаки первыми принимают удар, идя на стену старых орлов. Происходит все это на невероятной высоте, аисты не боятся ни орлов, ни высоты, они не пугаются падений и смертей, потому что им надо пробиться во что бы то ни стало, знание этого живет в их крови так же, как в орлиной крови живет знание того, что каждого, кто прилетел с моря, надо сбросить назад, в море, или кровью его окропить белые камни материка, разорвать его на белых камнях, еще более острых, чем орлиные клювы и когти.

И пока старые аисты-вожаки принимают на свои нечувствительные к боли тела первый удар, пока на подмогу им наплывают новые и новые волны аистиного войска, молодые аистята-первогодки, еще не окрепшие ни телом, ни духом, отрываются от стаи и, выгнув крылья, устремляются к самой земле, припадают чуть ли не к самым белым острым камням, в пугливом шуршании крыльев, в лихорадочной торопливости отдаляются от места битвы, углубляясь в материк дальше и дальше, недостижимые для орлов, которые не умеют летать низко над землей, побеждая старых хищников если и не силой и мощью, то умом и ловкостью, коим научили их старые аисты.

И так продолжается уже тысячи лет, льется кровь, падают с высоты убитые гигантские птицы, идет сила на силу упорно, ожесточенно и неотступно, а разум и ловкость, между тем, спасают самых младших, и каждую весну снова прилетают к Дунаю, Днепру и Днестру аисты, находят старые гнезда, ждут своих аистих и дают начало жизни новой и вечной.

Тяжелы гаремные ночи, но еще более тяжелы дни, ибо одиночество и безнадежность с еще большей остротой ощущаются, когда ты окружена подглядываньем, подслушиваньем, крадущимися шагами, таинственными шепотами, недоверием и враждебностью. В такие минуты весь османский мир представлялся Хуррем теми кровавыми орлами с белых анатолийских гор, а Славянщина, которую они терзали вот уже свыше двухсот лет, беззащитными мирными аистами, несчастными, обреченными навеки, но и неуступчиво упорными в своем существовании, в постоянном возрождении, в необратимом возвращении к своим истокам, к отчизне.

Первым, пожалуй, начал сын Орхана, внук Османа, султан Мурад. Побил на Марице болгарское войско, захватил Эдирне и перенес туда из Брусы свою столицу, присматривался к тому, как быются между собой сыны болгарского царя Асена Шишман и Стратимир, ослабляя и без того обессиленную свою державу, которая распалась после смерти Асена и теперь неминуемо должна стать чьей-то добычей: венгерского ли короля Уласло, сербского ли князя, уже захватившего под свое влияние Македонию, а то и самого папы римского, стремящегося окатоличить эти православные богатые земли. Но Мурад был ближе всех к лакомому куску, к тому же обладал и силой наибольшей. Шишман, чтобы задобрить грозного соседа, вознамерился отдать ему в гарем родную сестру Тамару. Царская дочь славилась невиданной красотой. Пятнадцатилетней была отдана в жены воеводе Драгашу Деяновичу, но воевода пал смертью храбрых на поле боя, не успев прикоснуться к своей юной жене, и теперь Тамара в свои двадцать лет не знала доподлинно, кто же она, молодая вдова или перезревшая девушка. Вся Европа добивалась Тамариной руки, наслышавшись о ее красоте, присылал Шишману сватов сам венгерский король, но Шишман, боясь окатоличивания своего края, все держал и держал красавицу сестру подле себя, и та уже готова была пойти хоть в монастырь, но и туда дорога ей была заказана, потому что в жилах ее текла смешанная кровь – от отца-христианина и матери-еврейки.

И вот царская дочь должна была идти рабыней в гарем к турку! Когда Шишман сказал сестре о своем намерении, она не стала укорять предателя-брата, только вздохнула и тихо сказала: «Если это твоя и божья воля, то пусть свершится».

Шишмановы послы прибыли в Эдирне с богатыми дарами, поклонами и царской дочерью. Мурад захотел посмотреть на нее, прежде чем посылать в гарем, где она должна была пополнить число несчастных невольниц. Когда же увидел прекрасную болгарку, то дрогнуло даже его жесткое сердце, и он заявил послам:

– Эта прекрасная девушка не может быть рабыней в моем гареме. Она достойна носить царскую корону и будет моей женой. Шишману прощаю его грехи. С сегодняшнего дня земля его под моей защитой.

Забрал Тамару, забрал Шишманову землю, а через восемь лет на Косовом поле разбил и сербское войско, пустив османских коней до самого Дуная.

На Косовом поле погиб сербский князь Лазарь, погибли все его храбрейшие юноши, султан Мурад, наслаждаясь победой, ехал по полю боя, конь его топтал павших, стоны умирающих звучали музыкой для победителя, радостно гремели османские барабаны, и никто из свиты султана, ни один из самых бдительных телохранителей падишаха не заметил, как поднялся меж умирающими сербскими воинами Милош Кобылич, стал перед конным султаном и ударил его ножом прямо в печеньку.

Отнесенный к своему шелковому шатру, султан вскоре скончался, младший сын его Баязид, закрывший отцовы глаза, был провозглашен янычарами новым султаном, когда же в

султанский шатер возвратился старший сын Мурада Якуб, преследовавший недобитого противника, Баязид велел удушить брата у себя на глазах, чтобы не иметь соперника на троне.

И снова надо было задобрить хитрого победителя, и снова молодым телом славянки. Еще не остыло тело князя Лазаря, а уже приведена была к Баязиду его пятнадцатилетняя дочь Оливера, и когда двадцативосьмилетний Баязид увидел ее красоту, то вспыхнула в нем такая страсть, что велел поставить девушку в джамии в Аладжахисаре перед кадием и муллой, чтобы те засвидетельствовали его брак с княжеской дочерью. До этого, кроме множества гаремниц, у Баязида было две баш-кадуны – дочь турецкого бея Давлет-хатун и греческая принцесса. Но то были жены не для любви, забыл о них, как только взглянула на него своими большими глазами Оливера, как только увидел ее золотые волосы, навек запутался в них своим взглядом и всеми своими помыслами. Велел закрыть ей лицо шелковым чарчафом, чтобы ничьи мужские глаза, кроме его собственных, не глядели на такую красу, хотел отправить Оливеру в гарем, чтобы немного там подросла, но понял, что не может без нее прожить ни одной минуты. Назвали Оливеру «Баш-кадуна Султания», выполнялись малейшие прихоти Оливеры, братьев ее Стефана и Вука султан принимал при дворе, как самых дорогих гостей, впервые на османских приемах появились греческие вина и сербская ракия. Не известно, завладела бы окончательно душой Баязида прекрасная Оливера, если бы внезапно не появился из глубин Азии лютый хан Тамерлан и не разбил войско победоносного султана на поле Чубук близ Анкары, захватив в плен самого султана.

В железной клетке возили султана Баязида вслед за войлочными юртами хромого кочевника. Может, видел из своей клетки Баязид, как жгли и грабили орды Тамерлана первую османскую столицу Брусу, как превратили в конюшню наибольшую святыню Брусы Ул-джамию, как захватили его гарем и полонили Оливеру с двумя ее маленькими дочерьми.

Тамерлан устроил банкет для своих нукеров⁵⁹, сидел на белом ковре, поджав под себя перебитую, негнушущую ногу, смотрел, как принесли в железной клетке пленного султана Баязида, велел, чтобы прислуживала ему и его гостям жена султана Оливера, совсем нагая, только в драгоценных украшениях и с прозрачной кисеей на бедрах. Оливера не боялась смерти, но когда ей сказали, что за непослушание будут убиты ее дочери, она подчинилась и понесла кровавому Тамерлану золотую чашу с кумысом. Шла, как голая по снегу, руки ее дрожали, кумыс расплескивался на белые бедра. Тамерлан, прищурившись, спокойно созерцал вельможную пленницу, его старые нукеры смотрели на Оливеру так же спокойно, зато нукеры помоложе насилу подавляли в себе кипение крови, готовы были вскочить навстречу этой женщине, и если бы не было там их повелителя, неведомо, чем бы все кончилось. Оливера не видела никого и ничего, видела лишь свой стыд, свое падение, свой позор, поэтому даже не удивилась, когда чуть не наткнулась по пути на железную клетку, в которой, вцепившись в прутья побелевшими пальцами, закусив губу, чтобы не взвыть от боли и ярости, стоял ее повелитель, ее возлюбленный муж султан Баязид.

Поцеловать бы ее лицо, которое дороже ему всего мира, отереть прах с ее ног и приложить к глазам, как целительное лекарство. Но только стон и мука. Ибо эти белые ноги шли не к нему и не для него.

Оливера еще нашла в себе силы, чтобы подойти вплотную к клетке и сквозь прутья сказать Баязиду:

– Делаю это, чтобы спасти моих детей, мой несчастный заточенный повелитель!

Не сказала «наших детей», а только «моих». Хотела нести чашу с кумысом дальше, но потеряла сознание и упала.

Этого надругательства Баязид уже не стерпел. Проглотил яд, который скрывал в своем золотом перстне. И как ни добивался Тамерлан, чтобы врачи спасли султана, потому что дол-

⁵⁹ Нукеры – последователи, ученики.

жен был повезти его в Самарканд как величайшую добычу, против яда оказались бессильными все средства.

Только через десять лет после смерти Баязида и разрухи, содеянной ордами Тамерлана, было восстановлено Османское царство. Старший сын Баязида Мехмед умер от перенапряжения во время охоты на вепря, младший сын Мурад долго боролся с названным братом Мустафой, наконец утвердился на престоле, снова османская грозная сила нависла над славянским миром, и снова, чтобы задобрить султана, брошена была ему в жертву молодая женская жизнь. Сербский деспот Георгий Бранкович послал Мураду в жены свою дочь, племянницу Оливеры, принцессу Мару.

Мурад, даже не взглянув на Мару, отослал ее в Брусу, в гарем, когда же после походов против венгерского короля прибыл в столицу и перед ним поставили Мару без ничего, лишь в прозрачной перевязи на груди, влюбился в нее безумно, немедленно сделал ее женой, а потом – чего не бывало никогда у Османов – отрекся от престола в пользу своего тринадцатилетнего сына Мехмеда. На поле Мигалич возле Брусы, собрав своих вельмож, он сказал им: «До сих пор я много воевал, шел от победы к победе, теперь хочу остаток жизни провести мирно, далеко от распрей мира. Отказываюсь от царского престола в пользу сына моего Мехмеда, сам отбываю в Манису отдохнуть».

Не было для Мурада с тех пор ничего милее на свете, чем Мара. Глядел бы неотрывно в ее зеленые очи, положив голову на пышную ее грудь, забыв о всех заботах, о державе, о самой жизни.

В Манисе возвел замок, окруженный садами, построил фонтаны, пруды с прозрачной водой. В шелесте листвы, в журчанье воды, в теплых ветрах с недалекого моря – голос и смех и вздохи его возлюбленной Мары, а более ничего.

Как в древней песне: «Выпить бы вина цвета твоего румянца – и опьянеть. Твои груди – как Аллахов рай, войти бы туда и нарвать яблок. Лечь между твоих грудей и заснуть. А потом отдать душу ангелу смерти, пусть придет за нею».

Однако по требованию беев пришлось снова стать во главе войска, чтобы победить крестоносцев, которые шли на империю, после чего опять отдал престол сыну Мехмеду и вернулся в Манису, где была Мара. Умер вскорости, хотя был еще не старым (сорока семи лет). Говорили, что от холеры, но догадки были – отравлен. Сына Мариного Ахмеда Мехмед велел задумать, «чтобы сберечь единство, порядок и мир в державе», самое Мару отослал в Сербию, где не могли принять ее ни люди, ни сам Бог, поэтому она вновь возвратилась в Турцию и умерла незаметно, лишняя и чужая для этой чужой земли и навеки оторванная от земли родной.

Даже аисты были счастливее женщин. Потому что как их ни били, как ни уничтожали, ни бросали на твердую землю, сколько из них ни истекали кровью, ни разбивали сердца о белые камни, все же они всегда побеждали, прорывались сквозь смерть и летели в родные края, чтобы дать начало новой жизни.

Наслушавшись преданий о безжалостных Османах, Хуррем невольно ставила себя не среди тех знатных славянок, царских и княжеских дочерей, а между аистят с неокрепшими крылами, но с неугасимой жадью жить и бороться. Уже и не рада была, что вслед за своим непутевым и несчастным отцом называла себя в шутку королевной. Не хотела сравняться ни с королевнами, ни с княжнами, ни с боярскими дочерьми. А хотела быть аистенком, маленьким, быстрым, неуловимым, смело бросаться в бой с османскими безжалостными орлами и побеждать их.

Сумеет ли и она, маленькая птаха, аистенок, победить османского орла, в хищные когти которого брошена ее жизнь?

Колодец

А может, он сядет здесь у воды и будет смотреть на ее неустанное движение и на то, как снуют тени под прозрачной волной, и на полыханье осеннего стамбульского солнца на лоснящейся поверхности моря? Может быть, и он хотел стать таким чистым и незамутненным, как эта вода, но держава заливала его отовсюду тяжелой мутой, и душа его – он ощущал это все острее – бессильная сопротивляться, становилась такой же мутной, как та великая славянская река, которая смешивала пречистые свои воды под высоким белградским берегом с глиняной взбаламученностью своего дерзкого притока. Грязь всегда бьет в душу, в самое сердце, и спастись от нее невозможно. Получив одно, теряешь что-то другое, может, и более дорогое. Чем больше найдешь, тем больше утратишь. Взираясь на заоблачную высоту не для того ли, чтобы мучительнее ощутить весь ужас падения? Уже год, как он владел наивысшей властью в своей земле, а может, и в целом мире. Власть оставалась для него непостижимой и загадочной в такой же степени, как был загадочен он, султан, для посторонних глаз. Власть утомляла и угнетала. От нее невозможно было укрыться, отдохнуть. Нависала над ним, как камень. Сидеть и ждать, пока она раздавит, не приходилось, поэтому он вынужден был что-то делать, действовать, – так, пошел на Белград и сразу достиг успеха, какого не знал ни один из Османов. Удовлетворился ли этим? И порадовалось ли его хмурое сердце? Не смог бы ответить даже самому Аллаху. Неопределенность и растревоженность выливал в стихах, которые никому не мог прочитать. Единственный человек, с которым он делился всем, – Ибрагим – даже тот не хотел постичь великой растревоженности, наполнявшей султанову душу. А что стихи без читателя? Переписанные самым умелым каллиграфом, лягут навеки в султанском книгохранилище так же, как диван покойного султана Селима, – даже нищенствующие поэты, которые бродят по базарам с чернильницей за поясом, готовые за мизерную акча⁶⁰ переписать первому встречному свое последнее стихотворение, даже они, если говорить откровенно, счастливее самых пышных султанов, обреченных на загадочное молчание, от которого нет спасения. Как завидовал Сулейман разгромленному его отцом персидскому шаху Исмаилу, стихи которого разлетелись тысячеусто песнями кызылбашей. А сочинял их шах под именем поэта Хатай, наверное, также в часы одиночества и усталости от всемогущества власти, без надежды на возможность общения с людьми, и – как знать! – если бы не разбил его войска султан Селим, может, залегли бы те стихи тоже неподвижно шахским диваном, но несчастье дало им крылья, и разлетелись они – теперь не соберешь, не удержишь, не запретишь, не уничтожишь! Сила бывает и в бессилии. Он же владел силой несокрушимой, доказал это только что всему миру на берегах Дуная, но та сила была не в состоянии побороть растревоженность его души, непостижимую для него самого. Он кинулся в чужую землю, в чужие просторы, подчиняясь голосу предков и голосу тех просторов, и долго ему казалось, что именно в этом спасение, но со временем, упорно вглядываясь в могучее течение славянских рек, услышал голос иной, женский или детский, тот голос звал его оттуда, звал с неба и на небо, голос неведомый, слышал его когда-то или и не слышал, голос как печаль и щемящая боль в сердце, все бы отдал за него, за то, чтобы приблизиться к нему на вытянутую руку, на взгляд, на вздох, но где его найти? Просторы безмолвствовали. Молчали разрушенные, сожженные города, молчала разоренная земля, молчали убитые люди – порубленные, посеченные, задушенные, живьем закопанные в землю, молчали, ибо уста их были полны земли, как у тех двух венгров, закопанных Ибрагимом уже после взятия Белграда в позорной мстительности и жестокости. Сам выдумал эту кару или выдумали они вдвоем – султан и его приспешник? Какое это теперь имело значение? «Ведь человек создан колеблющимся, когда коснется его зло – печальющимся, а когда коснется его добро – недоступным...»

⁶⁰ Акча – монета.

От Белграда почти убежал. Словно бы не хотел иметь ничего общего с теми, кто невидимо возвращался с берегов Дуная убийцами, грабителями и победителями. В Стамбул прибыл тайком, залег в неприступных глубинах серая, никого не подпускал к себе, не хотел видеть даже Ибрагима, отказал во встрече самой валиде, лишь черный кизляр-ага по ночам водил к султану то Гульфем, то других одалисок, привезенных еще с маниским гаремом, и теперь они были единственными, кто мог хвастать и гордиться милостями и вниманием самого падишаха. Тогда снаряжена была султанская барка, устлана коврами, посажены на нее были арфистки и одалиски, и Сулейман долго катался по Богазичи, и море звучало музыкой, пением и смехом. Султанские дети умирали один за другим, отчаявшаяся Махидевран рвала на себе волосы, билась от горя о землю, а Сулейман словно бы и не замечал ничего, пустился в распутство, тяжкое и бездонное, так, словно бы навсегда забыл о величии, которому служил первый год своего властвования с достойным удивления рвением.

Никто не знал о том таинственном женском голосе, что преследовал султана, никто не слышал того голоса, слышал его только Сулейман, все попытки заглушить тот голос оказались тщетными, голос звал султана снова и снова – куда, откуда?

Сулейман призвал своего любимца. Заперлись в покоях Фатиха, ночи напролет пили сладкие кандийские вина, Ибрагим умолял султана, чтобы тот показался стамбульцам в торжественном выезде – селямликке, как и подобало победителю над неверными, но султан не хотел являться даже на еженедельные ритуальные приемы в Топкапы, где двор должен был видеть своего султана, а султан – сквозь прозрачный занавес, отделяющий его трон от присутствующих, – своих придворных. Он ничего не хотел – только бы знать про тот голос, который звал его безуданно и упорно, но о котором он не мог сказать никому, даже Ибрагиму, так как нахальный грек только бы посмеялся над султаном, а над султанами не смеются.

Сулейман хотел быть добрым и щедрым. Одалисок, приводимых ему кизляр-агой, одаривал как никто и никогда. Велел соорудить в Стамбуле еще несколько имаретов – приютов для бедных. Допытывался у Ибрагима:

– Чего тебе хочется? Что бы я смог для тебя сделать?

– Уже все сделали, – отмахивался Ибрагим. – Ваше величество дали мне наивысшее счастье – быть рядом, наслаждаться близостью, о которой не смеет думать ни один смертный. Чего же еще желать?

– А все же? – настаивал подвыпивший султан. – Все-таки? Неужели нет у тебя никакой мечты, Ибрагим?

Ибрагим отрицательно качал головой. Делал это с нарочитой замедленностью, как бы наслаждаясь своим бескорытием. Пусть знает султан, какой верный его Ибрагим и как чисты его привязанность и любовь! А сам между тем, весь напрягшись, лихорадочно думал, когда именно улучшить момент, проронить перед султаном несколько слов о Кисае. О дочке дефтердара Скендер-челебия, о которой снова упорно напоминал ему Луиджи Грити, как только он вернулся из похода на Белград и они встретились в Ибрагимовом доме на Ат-Мейдане, в доме, перестроенном неузнаваемо благодаря стараниям все того же Луиджи Грити. Хлеб, мясо, фрукты, которые плыли в Стамбул морем, шли по суше, проходили через руки Грити и Скендер-челебия, а было этого всего так много, что нужен был сообщник, хотя бы еще один, третий, и тем третьим хотели они Ибрагима в надежде на его заступничество – когда возникнет необходимость – перед самим султаном. Этот союз обещал Ибрагиму то, чего не мог дать и сам султан, – богатство. Ибрагиму уже показали Кисаю. Нежная и чистая. Стоящая греха. Стоящая целой притчи. Ибрагим осушил чашу с вином и спросил у султана позволения рассказать притчу.

– Ты же смеешься над поэтами, – вспомнил Сулейман.

– Мир утратил бы без них самые лучшие свои краски, – внушительно молвил Ибрагим.

– Разве я не говорил то же самое?

- Я только повторяю слова вашего величества.
 - То-то же. Так что за притча?
- Ибрагим продекламировал приподнято, пылко:

Сокол на красной привязи
Днем охотился на пташек.
Сидела куропатка.
Перья пестрые, в глазах настороженность.
Сказала куропатка соколу:
– Не охоться на меня днем, ибо я не дневная дичь,
Охоться на меня темной ночью.

Султан из-под бровей метнул быстрый взгляд. Куда и девалось опьянение! Не было Сулеймана, не было поэта Мухибби, разочарованного в мирских делах, – сидел перед Ибрагимом твердый повелитель, могучий, всевластный и жестокий.

- Так где увидел сокол куропатку? – спросил султан.
- Притча может быть и без значения.
- Не перед султаном и не для султана. Спрашивал же у тебя, чего ты хочешь, какой помощи. Теперь говори.

Ибрагим изо всех сил разыгрывал смущение:

- Я бы не хотел злоупотреблять...
- Говори.
- У Скендер-челебии есть дочь.
- У дефтердара?
- Да.
- Сам буду на вашей свадьбе.
- Но ведь, ваше величество...
- Может, дефтердар откажет султану?
- Я не о том. Кисайя из простого рода. Дефтердар человек происхождения низкого, подлого. А вашему величеству подобает быть на свадьбе только тогда, когда девушка из царского рода...
- Не хочешь присутствия султана?
- Но ведь высокие требования...
- Или ты эту дочку дефтердара еще не имеешь намерения сделать баш-кадуной?
- Время покажет, ваше величество, только время владеет всем...
- Согласен. Получишь мой подарок. Скендер-челебии передадут мое повеление еще сегодня.

Ибрагим молча поклонился. Хотел поцеловать рукав Сулеймана, но султан оттолкнул его. Даже прикрикнул разгневанно на своего любимца. И не за его рабский жест, в котором, собственно, ничего не было необычного, а оттого, что снова зазвучал над султаном тот загадочный женский голос, и так явственно, словно был здесь, между ними, протяни руку – дотронешься. Дотронуться до голоса – возможно ли такое?

– Иди, – сказал внезапно Ибрагиму, – иди и сам скажи Скендер-челебии о моей воле. А меня оставь. Хочу побыть один. Не хочу никого видеть.

Говорил неправду. Хотел бы видеть тот голос. Ту, кому он принадлежал. А принадлежал ли он кому-нибудь? Или жил в пространстве, как живут там голоса земли и неба, ветров и дождей, дня и ночи?

Просилась к султану исплаканная Махидевран – не захотел видеть.

Снова спустился в сады гарема, но до моря не дошел, засел в белом кьёшке⁶¹, потом захотел послушать пение одалисок, увидеть танцы, но не в помещении, а на траве, под деревьями, близ текущей воды, на просторе с морскими ветрами.

Были положены на траву стамбульские ковры – как дым, как туман, как мгла над Босфором. Гибкие стебли, зубчатые листья, лотосы, розы, тюльпаны, гранаты. Ступили на ковры маленькие ножки, закружились в танце гибкие фигурки. Султан, незаметный за густыми кафесами кьёшка, одиноко наблюдал за этим праздником красоты, который предназначался лишь ему одному и все равно не мог утешить его, затянуть его рану, исцелить от неожиданного недуга, насланного какою-то злой силой, отдававшего эхом голоса, загадочно-непостижимого. Ему надоели танцы, и он махнул рукой кизляр-аге, требуя песен. Но и песни не принесли утешения, и Сулейман хотел уже гневно прервать забаву, как внезапно послышалось ему нечто словно бы знакомое, к голосу, мучившему его вот уже столько времени, присоединился голос, словно бы похожий, вот они слились – уже и не различишь, где какой, – и повели турецкую песню, и не из тех, что должны тешить султанское ухо, а дерзкую, почти грубую, с недозволенным намеком:

Бир далда ики кирез,
Бири ал, бира бейаз.
Эсмерден арзум алдын,
Сарамадым бир бейаз⁶².

Пела та неприметная славянская девчушка, которая когда-то поразила своим пением султана так, что он опустил ей на плечо кисейный платочек, но о которой забыл сразу же после того, как подержал в объятиях. Но ведь пела тем самым голосом, что мучил Сулеймана днем и ночью повсюду. Какое-то наваждение. Он нарушил обычай и, подозревая кизляр-агу, сказал мрачно:

– Пусть та замолкнет!

Кизляр-ага метнулся выполнять повеление. Но когда вернулся, его ждало повеление еще более мрачное и гневное:

– Почему она замолкла? Пусть поет!

Теперь уже не различал слов, слова не имели значения – слушал только голос, узнавал его, удивлялся, не верил и в то же время ощущал радость исцеления. Вышел из кьёшка, явился пред очи одалисок, взял у кизляр-аги прозрачный платочек, и повторилось то, что было весной, – платочек лег на худенькое плечо золотоволосой Хуррем, и от веселого маленького личика, поднятого к султану, словно бы посветлело его хмурое лицо.

И снова нарушил обычай султан, сказав при всех: «Вернешь сегодня мой платок». И сказал это не кизляр-аге, а Хуррем, так что Гульфем аж зашипела от зависти, а Кината зацокала языком, как цикада.

Сулейман милостиво взмахнул рукой. Отпускал всех или гнал от себя? Пока отпускал и Хуррем, которую должны были приготовить для ночи, приготовить рабыню для рабской ночи. Мама, пусти меня в детство, мамуся, родная! Стоял над нею повелитель в золотой чешуе, одревенело выпрямленный, точно пораженный столбняком. Когда водили ему в ложницу Гульфем, когда катался на барке с одалисками, тогда не звал ее, не помнил о ней. А она? Ждала его зова, как пес свиста, или проклинала свое ожидание? Ведь стала как все. Выбраться из рабства через рабство еще большее, еще более безнадежное? Как все? Неправда! Должна всех

⁶¹ Кьёшк – закрытая беседка.

⁶² На ветке две черешни, Одна красная, другая недозревшая. Я наслаждался смуглянкой, Да никак не мог еще обнять белолицую.

превзойти и победить! Разве не превзошла уже сейчас, лишь дважды явившись пред султановы глаза и завоевав его проклятый платок?

Хуррем сорвала платок с плеча, тряхнула им и побежала между апельсиновых деревьев, меж ароматов и прохлады. Зеленый ветер гнался за нею из чаши, обнимал зелеными объятиями, тасовал зеленые тени на ее нежной фигурке (в белом, вся в белом), и волосы ее становились как зеленоватое золото, и из глаз било зеленую равнину. Когда-то рвалась в поле, в пору, когда красовалось жито. Хлеба ложатся волной, жаворонки поют, ласточки, как синие белые стрелы, облетают тебя вокруг, каждая травинка, каждый цветочек, каждый колосочек нашептывают тебе о какой-то великой тайне, такой близкой человеку, всему живому, деревьям, солнцу, звездам, вселенной.

Теперь кричала в ней душа от одного лишь воспоминания о том, что осталось и никогда не вернется. «И вот я с вами во все дни до скончания века». Века кончились, оставлена она всем сущим, покинута, Богом оставлена, не человек, не собака. Надеется на спасение в месте самого наитяжелейшего позора. Как она ненавидела теперь султана! Подлый сластолюбец, адская пиявка, двуногий дьявол, обрезанный сатана! Хотела бы быть змеей, только без яда, поганой крысой, только без чумы, собакой, только никого не кусать, жабой, ящеркой, саранчой – кем угодно, только не женщиной! И в то же время знала, что сможет победить только как женщина, единственным оружием, какое имела, – телом чистым, нетронутым, неповторимо-единственным.

Когда вел ее ночью кизляр-ага к султанской далекой ложнице, не мерзла, как по весне, не вздрагивала от страха, стискивала зубы, прочитывала про себя молитвы, не мусульманские, нет, свои, еще отцовы, «Отче наш», «Богородица дева...», «Достойно есть». Боже единый, вездесущий, всемилостивый! Помоги, сохрани, помилуй, исцели! Обещано, что праведники засияют в царствии божьем, как солнце. А разве же она не праведница? Разве успела провиниться в свои шестнадцать лет? Почему должна идти к этому человеку, такому темному душой, точно он вышел из преисподней? Почему, почему?

Султан ждал ее нетерпеливо, какой-то словно бы растерянный, вновь, как и тогда, сидел на ложе, только теперь был в тюрбане, беспомощно молчал, смотрел на Хуррем, которая застыла, нагая, лишь с прозрачным платочком на плече, у двери, и тоже молчала, глядя на Сулеймана не то испуганно, не то с вызовом.

– Почему же ты молчишь? – спросил он наконец.

Она молчала.

– Подойди ко мне.

В ней так и закричало: «А если не хочу? Если не захочу?» Но не выпустила тот крик, только постояла из упрямства, а потом все же пошла, медленно, пошатываясь и спотыкаясь о ковер, точно пьяная или лунатичка. Если бы она знала, как ее голос мучил Сулеймана все эти месяцы, терзал его душу, не давая покоя ни днем, ни ночью! Как сказано в Священном Писании: «Взглянут на того, кого пронзили они». Да не знала Хуррем о своей власти над султаном, власти неизъяснимой, беспричинной, и потому еще только мечтала о такой власти, подкрадывалась к ней осторожно, как к птичке, которую боишься вспугнуть. Как караван не может идти быстрее, чем он идет (ибо тогда те, кто едет на верблюдах, опередят души свои и растеряют их в беспредельностях дорог), так и она могла продвигаться только со скоростью, зависевшей не от нее, а от него, от человека, которого ненавидела больше всего на свете и в котором в то же время только и могла искать для себя избавления и спасения.

– Ну, чего же ты? Иди быстрее! – точно угадал ее пугливую нерешительность Сулейман. – Ты ведь не боишься меня?

– Боюсь, – облизывая пересохшие губы, шепотом ответила Хуррем.

Сулейман попытался улыбнуться.

– Разве я страшный? Для тебя я никогда не буду страшным. Ты меня понимаешь? Хочешь что-нибудь выпить? Здесь есть даже вино. Ты все понимаешь?

Мешал слова турецкие со славянскими, был необычно возбужден, удивлялся сам себе.

– У меня было достаточно времени, чтобы выучить и турецкий, и арабский, – сказала Хуррем. – Да и персидский.

Султан не поверил.

– Этого не может быть.

Она промолчала. Сулейман налил ей вина.

– Выпей и не молчи.

Она отпила вина. Может, это и не вино, а отрава? И надо хоть знать, как она подействует. Стояла над ложем, садиться отказалась, упорно молчала.

– Ты сердишься на меня за то, что я завоевал славянские земли? – попробовал догадаться султан.

Хуррем пожала плечами. Что ей за дело нынче до всех земель?

– Или, может, за то, что крымский хан, воспользовавшись моим походом, напал на твою землю? – не отставал султан, утаив от Хуррем, что это он велел хану напасть на польского короля, чтобы тот не пришел на помощь своему родственнику – королю венгерскому.

Девушка вся встрепелась мучительно, услышав о своей родной земле, и снова как бы застыла.

– Я не могу чувствовать себя виноватым перед тобой, ибо султан никогда не бывает виноват, ты должна меня простить и спеть мне, чтобы я услышал твой голос. Прошу тебя.

Она улыбнулась. Отпила еще вина и улыбнулась щедрее. Словно дразня султана, подергала за золотой крестик, который упрямо не хотела снимать. Золото на груди. А в груди? Если бы мог этот человек заглянуть ей в грудь!

– Что спеть?

– Что хочешь.

Она опять затянула турецкую. О девушке и ее красе. «Он биринде майюзюне бакилир (еще когда она была одиннадцатилетней, на ее месячики заглядывались); он алтисинда петек бал олур (у шестнадцатилетней улей наполняется медом); йирмисинде керван гечер йор олур, йырми биринде бир кьетюе кул олур (в двадцать один год становится рабыней какого-нибудь негодяя)». Песня была длинной, через все годы, от одиннадцати до двадцати одного, и опять-таки слишком груба для султанского уха, но Сулейман слушал с величайшим наслаждением и радостью, совсем для него не свойственной.

– Ты действительно знаешь по-турецки? – подивился он.

Хуррем ответила ему по-арабски:

– «Клянусь небом, обладателем возврата. И землей, хозяйкой раскалывания».

– Этого не может быть! – не поверил султан.

Тогда она пропела ему одну из песен Хатаи, того самого шаха Исмаила, которому так завидовал в минуты душевной сумятицы, запела по-персидски, затем по-азербайджански. Она пела и припевала, смеялась и присмеивалась, наблюдая за его изумлением. Так незаметно приблизилась на расстояние опасное и очутилась в объятиях человека, которого ненавидела, но без которого не могла тут существовать, и когда Сулейман притронулся к ее пугливому телу, он наполнился до краев тем голосом, что так долго и тяжело мучил его, и лишь тогда постиг, что отныне без этой девушки ему не жить. Проникала в него в каждой точке тела, в каждом касании, в каждом объятии, входила в него, вливалась, вползала ящерицей, змеей, тоской, болью, восторгом, истомой. Потом она снова пела ему на разных языках, уже и на родном, что-то рассказывала, журчала, как ручеек, лепетала, как листва под ветром, а он был далеко от ее торопливых слов и несмелого тела, но близко к ее голосу, прижимался к тому голосу, точно ребенок, и радовался, и смеялся, исчезала его суровость, даже кровь невинно убиенных как

бы не пятнала ему рук, а взлетала в небеса и покрывала красной луной, звезды и тучи над Босфором. Наутро станет он для всех снова султаном, жестокосердным повелителем без милосердия и жалости, и только ей дано видеть его иным, только она изменила его хотя бы на одну ночь, стала могущественнее власти всей империи. Вот сила женщины! Вот ее власть!

Гарем все заметил, но не поверил. Глаза, от которых ничего не скроешь, умеют видеть – и только. Видели, что Хуррем за смехом скрывает смущение, неуверенность, а может, и отвращение? Если бы! Заметили, что кизляр-ага ведет смеющуюся рабыню в султанские покои раз, и второй, и третий. Такого еще не знал никто, кроме Махидевран, всемогущей, незаменимой, несравненной.

Теперь между Богом и Хуррем были только звезды и темнота. А может, темнота стала для нее богом? Женским Богом, ибо женщина царит только в темноте, творя истинное чудо, пробуждая в душе жестокого деспота доброту, нежность, ум, справедливость, простоту и восхищение.

На третью ночь Хуррем осталась в султановой ложнице до утра. Но не увидела, как спит султан, ибо уснула сама, а он смотрел на нее, молился Аллаху, плакал без слез над своим одиночеством, от которого спасла его эта дивная девушка, был уже не султан, не завоеватель, а простой странник, поэт и мыслитель, спрашивал себя: что есть жизнь? Тень птицы на морской волне? Правечная пыль Зодиака над беспредельностью пустынь? Всхлип времени в караване вечности? Заблудший вой зверей в чащах? Неминуемость странствий к смерти?

Хуррем проснулась и лежала тихо, прислушиваясь, когда же восстанет ее душа. Ждала, надеялась, сгорала от нетерпения. Хотела плода в себе, жаждала его, но не как яблоня завязи, не как калина красной грозди из-под белого цвета, не как лещина ореха из медвяной почки, а горького и ненавистного. Пусть прорастет, как куколь на пшенице, как рожки на жите, как ядовитый гриб в лесных чащах. В чащах ее тела горький султанский плод – и тогда она возвысится надо всеми и над всем. Нет такого намерения, коего бы она не оправдала. Рабы хоть и ниже тиранов, но зато стоят на собственных ногах, а тираны – на глиняных. Она победит этого человека, должна победить во что бы то ни стало! Человеку мало просто жить. Чтобы жить, нужна отчизна, свобода и песня. Ей из всего осталась только песня от мамуси, песней утвердилась она в этом жестоком мире, песней должна и завоевать его.

Между тем наступала пора для слез.

Гарем не мог простить Хуррем ее неожиданного, беспричинного возвышения надо всеми. Достаточно того, что все, даже всемогущая валиде, смирились с причудливым нравом этой Рушен, с ее загадочным, противоестественным для этого места показной сдержанности смехом, который звучал в запутанных просторах гарема, точно звуки искушения из глубочайших адских пропастей. Слишком уж много было тех двух султанских платочков, которые русинка таинственно-колдовским способом получила из рук падишаха, только дважды появившись пред всесветлые очи повелителя всех сухопутных и вод (ибо небеса принадлежат Аллаху всемогущему, пусть царствует вечно и счастливо!). Но этой дочери шайтана оказалось и этого еще мало. Она зачаровала пресветлого султана, заморозила его злым колдовством так, что он не хотел никого ни видеть, ни слышать, только эту Хуррем, только ее единственную, каждую ночь – и уже сколько ночей подряд! – и не мог оторваться от своей рабыни до утра, иногда велел приводить ее даже днем, чего еще никогда не было ни видано, ни слышано. Чары, чары! Никто не видел их, маленькая украинка не была поймана за руку, доказательств как будто бы и не существовало, но ведь было наваждение султана, значит, были и чары.

Гарем клекотал затаенно и угрожающе, он ждал кары, жаждал кары, он сгорал от нетерпения и удивлялся терпеливости валиде и ослеплению Махидевран, которая после смерти своих трех детей была в таком потрясении, что не замечала даже угрозы гибели для себя самой. Спокойствие сохраняла, пожалуй, лишь валиде. Встревоженная смертью двух султанских сыновей, могла ждать (ибо все в руках Аллаха), что со дня на день черная смерть заберет и послед-

него из Сулеймановых сыновей – Мустафу, поэтому должна была немедленно позаботиться о том, чтобы трон Османов не остался без преемника. Приняла весть о неожиданном сближении султана с маленькой украинкой удовлетворенно, с тайной радостью: если и неправда, что эта девушка королевского происхождения, то все равно ведь не похожа ни на кого и достойна занять место рядом с Махидевран, этой дважды обезумевшей султанской любимицей – сначала от власти, теперь от горя. Но все это валиде держала в душе глубоко упрятым, гарему же выказывала озабоченность тем, что происходило в султанских покоях, и намекала, что только выжидает подходящего времени проявить против тех двоих свою силу... «И в тот день, как будут свидетельствовать против них их языки, их руки и их ноги о том, что они делали».

И когда почувствовала, что уже пора вмешаться, позвала к себе Махидевран, накричала на нее за бесконечные слезы, открыла ей глаза на грозящую опасность, распалила в черкешенке дикую ярость и не стала удерживать баш-кадуну, когда та стала кричать, что найдет гяурку даже под султанскими зелеными покрывалами и задушит вот этими руками, не прося ничьей помощи, не спрашивая ничьего позволения, не страшась никакого греха.

Взбешенная и разъяренная полетела толстая черкешенка туда, где должна была находиться ее соперница, не стала ни расспрашивать, ни убеждаться, и так все ей открылось, как в день Страшного суда: и новое, просторное жилище Хуррем, и служанки вокруг нее, и пышность убранства едва ли не такая, как у нее самой, главной султанской жены, – какое коварство, какой позор и какое злодейство! Всей тяжестью своего раскормленного тела ударила Махидевран ошарашенную Хуррем, всадила свои острые ногти ей в лицо, вцепилась в волосы.

– Предательница! – выкрикивала люто Махидевран. – Мясо, проданное на базаре! Ты еще будешь со мной тягаться?! Ты еще смеешь?!

Хуррем одевали, чтобы вести к султану. Четырехглазый вот-вот должен был за ней прийти, должен был бы явиться своевременно, чтобы защитить ее, не допустить этого унижения, которое было, собственно, и унижением самого султана. Но кизляр-ага предусмотрительно где-то задержался или спрятался. Служанки бросились врассыпную, ни одна не пришла на помощь Хуррем, были здесь глазами и свидетелями мстительного гарема, хотели первыми увидеть униженность той, что замахнулась на наивысшее, засвидетельствовать ее позор, увидеть ее слезы.

Хуррем насилу вырвалась из цепких рук мстительной черкешенки. В кровавых ссадинах, с косами, из которых были вырваны целые пряди роскошных еще мгновение назад волос, отскочила от Махидевран, готовая в отпору, к защите, ко всему самому худшему.

Слезы? Слез своих не покажет тут никому и никогда. Крик? И крика ее не услышат, чтоб они все оглохли. Была беспомощна, обреченно-покинута, как жемчужина, нанизанная на нитку, но теперь уже знала, что, как и жемчужина, сохраняет в себе красоту и притягательность. Была уверена в своей притягательности и силе – и не для этих женщин, не для гарема, а для той вершины, к которой здесь все рвутся, а достичь не дано никому, кроме нее.

Кизляр-ага, хорошо зная, что чрезмерное выжидание может привести к непоправимому, появился в покое Хуррем как раз вовремя, чтобы спасти ее от нового, еще более неистового нападения разъяренной, одичавшей, как тигрица, Махидевран; баш-кадуну силой вытащили из покоя четыре евнуха, которых Четырехглазый точно выпустил из широких рукавов своего златотканого халата – так неожиданно посыпались они из-за него на черкешенку – а к Хуррем главный евнух обратился, словно бы не замечая, в каком она состоянии, и напомнил, что пора идти к султану.

– Не пойду! – коротко бросила Хуррем не так для кизляр-аги, как для служанок, которые не уходили, ждали, надеялись еще на что-то, чтобы было о чем порассказать гарему, сгоравшему от нетерпения.

– Что ты сказала? – спросил кизляр-ага, для которого Хуррем оставалась все еще рабыней, пусть и любимой на какое-то время султаном, но все равно рабыней. – Как ты смела мне такое сказать?

– Не пойду! – закричала Хуррем и даже топнула ногой. – Поди и скажи султану, что я недостойна стать перед ним, так как я обычное проданное мясо, а не человек. Кроме того, лицо мое так исцарапано и на голове моей столько вырвано волос, что я не смею показаться на глаза его величества.

У Четырехглазого не дрогнула ни единая жилочка на лице. Сочувствия тут не было и в помине, но по крайней мере мог бы усмехнуться на такие речи, а он не позволил себе и этого. Когда человек сам роет себе могилу, что остается? Подтолкнуть его туда, вот и все. А что Хуррем живьем закапывала себя, в том не могло быть ни малейшего сомнения. Ибо это впервые в османских гаремах рабыня отказывалась идти на зов падишаха, да еще и произнося при этом оскорбительные, высокомерные слова, похваляясь своим рабством, выставляя его как какую-то наивысшую добродетель. Не могло быть большего торжества для всего гарема, нежели это ужасающее падение временной любимицы, заворожившей султана темными чарами, и кизляр-ага, как верный слуга Баб-ус-сааде, как необходимейшая принадлежность гарема, мигом кинулся к покоям падишаха, чтобы принести оттуда повеление о конце взбунтовавшейся рабыни и о возвеличении всех тех, кто ждал этого конца: валиде, Махидевран, султанских сестер, всего гарема, до последних водоносов и уборщиков нечистот.

Однако чары продолжали действовать непредвиденно и зловеще. Султан молча выслушал главного евнуха, переспросил, в самом ли деле так сильно пострадала Хуррем, потом сказал:

– Пойди к ней и попроси, чтобы она пришла.

А когда оторопевший от таких слов кизляр-ага, вместо того чтобы мгновенно броситься исполнять высокое повеление, разинул рот, точно хотел что-то сказать, султан повторил:

– Пойди и скажи, что я просил ее прийти.

Дважды сказанное уже не требует подтверждений. Кизляр-ага поплелся туда, откуда вышел с таким преждевременным торжеством, – был слишком опытным гаремным слугой, чтобы не постичь, что идет уже не к рабыне, а к повелительнице, пусть еще и не признанной всеми, но ему уже объявленной, и счастье, что он первый узнает об этом, теперь-то уже не ошибется в своем поведении ни за что. Был сплошная учтивость перед Хуррем, кланялся ей, точно султанше, просил и от имени падишаха, и от своего. Она немного привела себя в порядок, пошла в покои Сулеймана, шла с сухими глазами, решительная, исполненная ненависти ко всему вокруг, а перед самой ложницей султана сломалась, заныло у нее в душе, брызнули из глаз обильные слезы. Мамочка родная, что они со мною делают! Пусти меня в детство, пусти в свои песни, в сказки, в свой дорогой голос, пусти в раскаянье, пусти хоть в смерть! Просилась в детство, а была ведь еще ребенком. Предстала перед султаном вся в слезах, окровавленная, униженная. Сулейман, забыв про кизляр-агу, бросился к Хуррем, целовал ее слезы и раны, гладил волосы, спрашивал, кто осмелился поднять на нее руку, кто этот преступник, пусть скажет, пусть только назовет имя.

Сквозь всхлипывания она назвала имя Махидевран, и султан коротко кивнул кизляр-аге – привести. Не просил, не передавал, чтобы пришла, не стал тратить хотя бы слово на свою баш-кадуну, на султаншу, на мать своих детей, на ту, что дала ему наследника. Жестокий кивок – и все.

Кизляр-ага поспешно отправился в новый свой поход. Одну уже возвел на вершину, теперь должен был другую спустить до низин. Немного побаивался осатанелой черкешенки, боялся, что закапризничает и не захочет идти к своему повелителю, но Махидевран только и ждала, когда явится пред глаза Сулеймана. Ибо какая женщина пренебрежет случаем выска-

зять мужчине все, что она о нем думает, – и не важно при этом, кто этот мужчина, самый убогий юрюк из Анатолии или сам великий султан.

В горе от смерти своих детей и от несправедливости султана, Махидевран явилась перед Сулейманом разгневанная, но гордая тем, что не была когда-то продана ему в гарем, а привезена братьями в дар будущему преемнику престола, в знак преданности Османам, завоевавшим весь видимый мир. Не сдерживала своей ярости, из горла у нее вырывался вместе с турецкими словами дикий черкесский клекот, что было бы, может, даже прекрасно, если бы произносились при этом слова справедливые и милостивые, а не пронизанные ненавистью.

Султан коротко спросил, действительно ли она допустила насилие над беззащитной Хуррем.

Черкешенка гортанно рассмеялась и выкрикнула, что это еще не все, что она еще не воздала этой дочери ада все положенное. Ибо она, Махидевран, баш-кадуна, только она может быть первой в услужении его величеству, и все жены, а прежде всего рабыни, должны ей уступать и считать ее своею госпожой.

Сулейман не мигая смотрел на ту, которую звал Весенней Розой и Повелительницей Века, которую еще совсем недавно ставил надо всеми, без которой не мог дышать. Смотрел и не видел идола, коему поклонялся. Стояла перед ним тупая, чванливая, раскормленная черкешенка, вся увешанная драгоценными побрякушками, щедро даренными им за каждый поцелуй, за каждый взмах брови, а рядом с нею – полная жизни и искристого ума девушка, которая точно вырвалась из ада, опалившего ее волосы, коснувшегося, может, и души, но отпущившего на волю, чтобы попала она в рай, ибо рай только для таких, как она. В гареме была точно вызов всем тем пышнотелым, безмерной красоты одалискам, вроде бы и обыкновенная лицом, с детским, чуть вздернутым носиком, такая маленькая вся, что уместилась бы на ладони у своего безжалостного сторожа – кизляр-аги, но мужественная, дерзкая, полная непостижимого очарования и невероятного ума. Сулейман прекрасно знал, что такое дебри гарема. Там все ненадежно, непрочно, встревоженно-пугливо, все как бы раздвоены; одни подчиняются судьбе и плывут на этом проклятом корабле тяжелого прозябания, что везет их к старости и смерти, другие (их совсем мало, единицы) начинают ожесточенную борьбу за султанское ложе, не задумываясь над тем, что может принести им это ложе. А эта девушка не присоединилась ни к одним, ни к другим, даже понятия не имела, что случаем обретенное султанское ложе принесет ей совсем уж непредвиденное – власть, какая никому и не снилась. Какая же это для него неожиданность и радость в то же время: встретить в гареме, среди этого попорченного «мяса для удовольствий», среди отупевших молодых самок, затурканных наложниц, запуганных орудий утех и наслаждений, существо мыслящее, человека, который равен тебе упорством ума и жадной знаний, а волей и характером превышает, ибо за тобой, кроме происхождения, нет ничего, а она выбилась из небытия, из рабства, из безнадежного унижения на самый верх только благодаря собственным силам, одаренности души, мужеству и вере в свое предназначение на земле.

Все это Сулейман чувствовал, хотя постичь до конца не умел, да и не пытался. Знал лишь одно: больше не захочет видеть эту черкешенку нигде и никогда. Всплыли в памяти слова: «А тех, непокорности которых вы боитесь, увещевайте, и покидайте их на ложах, и ударяйте их...»

– Уходи прочь, темная женщина, – сказал он тихо, но твердо. Когда же Махидевран гневно двинулась на него, он повторил уже с нетерпением в голосе: – Уйди прочь!

Железные руки кизляр-аги вмиг выпроводили черкешенку из ложницы.

А те двое остались одни, глянули друг другу в глаза и, пожалуй, оба одновременно поняли: вместе навсегда, до конца, неразлучно. Сулейман устало обрадовался этому открытию, а Хуррем испугалась. С ужасом почувствовала, что ненависть ее куда-то запропастилась, исчезла, а на ее место выступало искушение и демоны завладевали душой неумолимо и навеки, навеки! Разве она этого хотела, разве к этому стремилась! Хотела лишь успокоить, усыпить вампира, а потом ударить, одолеть, превзойти! Чтобы отомстить за все! За мамусю и за отца,

и за Рогатин, и за всю свою землю, которую эти пришельцы, эти грабители и людоловы норovali заковать в железный ошейник, как тех несчастных девушек, чтоплыли с нею через море и проданы на рабском торге в Стамбуле в вечную неволю. И хотя сама она не испытала ошейника, все равно ощущала его жестокое железо на своей нежной шее, он угрожал ей постоянно, нависал над всей ее жизнью, как извечное проклятие. Только ли потому, что родилась на такой щедрой и богатой земле, очутившейся на распутье племен и всей истории?

Должна была лелеять в себе ненависть к этому главарю всех величайших грабителей, взращивать ее упорно и тщательно, и делала это без понуждения со стороны, без чьей-либо помощи, и уже должна была бы сорвать плод, когда неожиданно сломалась. И с ужасом ощутила в себе уже не ненависть к этому высокому грустному человеку, похожему на викария Скарбского из Рогатина, а – страшно даже и сказать – нечто вроде начала расположения, может, и любви! Ветер горьких воспоминаний еще и поныне нес ее в отчизну, а любовь уже отклоняла, как молодое деревце, назад. И давно уже перестала она быть Настасей, а стала Хуррем. И теперь осталась одна с этим человеком – одна во всем свете. Шагнула к Сулейману, и он протянул к ней руки. Упала ему на грудь, содрогалась в рыданиях. Да упадет твоя тень на меня. Падала на всю землю, пусть упадет и на меня.

Вот когда завершилась богооставленность ее души ее триединым христианским Богом. Тут же, где грешила, должна принять чужую веру. Так легко. Только поднять указательный палец правой руки, шехадет пермаги, палец исповедания. Добродетельная блудница. Постепенно вползали в душу порок за пороком, страсть за страстью, а она и не замечала. Углублялась в плотскую жизнь, пока не утонула в ней. «Если Ты поклонись мне, то все будет Твое». Какой обман!

А образ мамуси, дорогой образ, тускнел и уже насилу пробивался сквозь даль времен, невыразительный и горький, как ночные одинокие рыдания. И только в глубине души тоскливо звучала песня от мамуси, все от мамуси: «Ой, глубокий колодезь, боюсь, щоб не впала. Полюбила невірного – тепер я пропала...»

Остров

Как – что же? Дьяволы уже вселились в нее, и вокруг ими так и кишело. Правда, в последнее время они вели себя смирно, но все равно теперь уже знала: она в их руках и нет ей спасения. Шла к султану каждую ночь, умирала и рождалась в его объятиях, а он, ясно было по всему, только и видел жизнь, что в ее глазах, в ее лице, в ее пугливо-обольстительном теле, удивлялся теперь безмерно, почему так долго не мог отгадать (а кто подсказал бы, кто?) причину своей душевной тоски, еще больше дивился тому, как могло ему поначалу показаться некрасивым это единственное в мире личико с прекрасным, упрямо вздернутым носиком, с очами, что светили ему звездами в самой непроглядной тьме, с дивным сиянием, от которого бы засветилась даже самая мрачная душа. Воистину, красота – в глазах того, кто любит.

Султан снова становился султаном. Созывал диван, советовался с визириями, дважды в неделю, выполняя обязательный ритуал, показывался придворным и послам, каждую пятницу молился в Айя-Софии, изредка ездил на Ок-Мейдан метать стрелы, присматривался к новым стройкам Стамбула, одаривал вельмож златоткаными кафтанами и землями, карал и миловал и вновь и вновь возвращался к своей Хуррем, без которой не мог идохнуть, возвращался в ночи ее голоса, ее песен, ее смеха и ее тела, подобного которому еще не знал мир. Всякий раз новое, непостижимое, неизъяснимое, страшное в своей соблазнительности и неисчерпаемости, это тело обезволивало султана, в нем все содрогалось от одного лишь прикосновения к Хуррем, и он с ужасом думал о том, что утром надо бросать эту девочку-женщину ради женщины иной – державы, властной и немилосердной, а тем временем эта беленькая девчушка будет отдана на подсматривания, оговоры и наговоры безжалостного, завистливого гарема. У него перед глазами стояло постоянно одно и то же: валиде с темными властными устами, злые султанские сестры, хищная Махидевран, обленившиеся одалиски, толстые коварные евнухи, молчаливый кизляр-ага, безнадежно располовиненный между султаном и его матерью, а посреди всего этого – она, Хуррем, с мальчишеской фигуркой, в которой ничего женского, лишь пышные волосы и тугие полушария груди, так широко расставленных, что между ними могла бы улечься султанова голова.

Валиде тоже видела эти груди и тоже знала, что между ними может улечься голова ее царственного сына, и боялась этого, так как уже убедилась, что рабыня с Украины – самая опасная соперница не только всем одалискам, не только глупой Махидевран с ее холеным телом, а даже ей, недостижимой в своем величии и власти повелительнице гарема и своего единственного сына. Когда султан, возвратившись из великого похода, печальный и хмурый, несмотря на блистательную победу, ударился в разгул, чтоб разогнать тоску, валиде радовалась этой темной вспышке мужественности в Сулеймане. Когда он увлекся маленькой украинкой-роксоланкой, повелительница гарема даже тайком способствовала этому увлечению, надеясь, может, и на пополнение древа Османов, ибо дети от Махидевран оказались недолговечными и еще неизвестно было, долго ли проживет единственный оставшийся в живых ее сын и наследник трона Мустафа. Да и нельзя было ставить под угрозу всемогущественный род Османов, имея лишь одного наследника, – валиде знала это по собственному горькому опыту: ведь двадцать шесть лет не знала спокойной минуты, оберегая жизнь своего сына, которому отец его не сумел, не смог и не захотел дать ни единого брата. Валиде верила в дух и силу степей, на краю которых сама родилась, готова была приветствовать рождение сына этой роксоланкой, согласна была поставить ее на место кума-хатун, то есть второй жены султана, но никогда на место первой, баш-кадуны, на место Махидевран. Ибо Махидевран – это только тело, тупое и глупое, которое легко пихнуть куда угодно, а Хуррем это разум, непокоренный, своевольный, как те беспредельные степи, с которыми уже вон сколько лет безнадежно бьется воинственный народ самой Хафсы. Еще когда ничего и не намечалось, когда Хуррем была бесконечно далека от царствен-

ного внимания Сулеймана, валиде, подсознательно ощущая угрозу, скрывавшуюся в маленькой украинке, незаметно, но упорно руководила ее воспитанием. По обычаю, установленному испокон века, гаремниц на целый день сбивали в кучу, чтобы были на глазах, чтобы не дать им укрыться ни мыслью, ни настроением, не позволить никому столь желанного уединения, ибо наедине с собой можно и надумать что-либо греховное, а то и злое, а так пустоголовость, лень, обжорство, похвальба телесными прелестями и в то же время ревнивая слежка, взаимное наблюдение, питающиеся неисчерпаемыми источниками зависти, этого страшнейшего из людских пороков. Хуррем, словно бы и подчиняясь заведенному обычаю, охотно напевая и смеясь в гурьбе одалисок, в то же время норовила оторваться от них, когда они надоедали своею пустотой, отвоевывала для себя каждую свободную минутку, тратя ее на обогащение своего ума. Другие объедались, спали, думали о драгоценностях, нарядах и украшениях, хватались за каждый способ сделать свои тела еще соблазнительнее, а эта, с ароматным, почти мальчишеским телом, с запахом диких степей в своих фантастически золотых волосах, заботилась лишь о своем уме, выстраивала его, как мост, по которому можно перейти самую широкую реку, как мечеть, в коей можно произносить самые сокровенные слова, как небесный свод, под которым голос доносится до ушей самого Аллаха. Для гарема такая рабыня была невиданной, подозрительной и опасной. Поэтому валиде приставила к Хуррем старую мудрую турчанку, которая могла научить маленькую украинку простым знаниям, грубым песням, всему тому, что звучало на подлом каба тюркче⁶³, таком далеком, если и не враждебном, султану Сулейману, воспитанному на изысканной персидской поэзии, на арабском мудрословии. Валиде наперед догадывалась, как резанут эти простонародные песенки, переданные Хуррем доброй уста-хатун, утонченный слух повелителя, еще с детства писавшего подражания – назире – на блестящие касиды и газели Ахмеда Паши, великого поэта, сумевшего стать любимцем двух могущественных султанов – Мехмеда Фатиха и Баязида Справедливого.

И все ее хитрости свелись на нет. Маленькая роксоланка приворожила султана неведомо чем. Одна ночь, даже десять ночей с султаном – в этом еще ничего не было угрожающего, все ждали конца, валиде верила, что Сулейману в конце концов надоест маленькая рабыня с ее песенками, одинаково варварскими и на ее непостижимом языке, и на каба тюркче, еще непоколебимо верила валиде, что постная плоть неискушенной в любовных утехах украинки не даст наслаждения султану и тот неминуемо вернется к своей сладкой Махидевран или к другим пышнотелым одалискам. Вычерпывается и самый глубокий колодец. Разве не исчерпалось ее собственное тело так, что султан Селим навсегда отчурался от нее, как только она подарила ему сына и дочь?

Так рассуждала мудрая валиде, спокойно наблюдая временное увлечение своего сына маленькой украинкой. Но мудрости ее нанесен был страшный и непредвиденный удар. Спокойствие рассеялось, как дым от степного костра. Ее великий сын с его тонкой душой, с непревзойденной мудростью, с непреклонной волей был сломлен, как тонкая камышинка бурей, побежден коварством, превышавшим всякую мудрость, брошен в униженность грязной страсти, не щадящей в мужчине ни изысканности, ни блеска, ни обыкновенной порядочности. Маленькая Хуррем возвышалась над гаремом, над валиде, над самим султаном, над всей империей, и никто этого еще не понимал, кроме мудрой валиде, никто не мог помочь, не мог раскрыть глаза султану, указать на угрозу и посоветовать, как спастись.

Валиде позвала Махидевран, ослепленную горем смерти своих детей, и спокойно сообщила ей о том, что происходит в гареме. И этим еще ускорила неизбежность победы Хуррем.

Падение Махидевран было ужасающим. Султан забыл о своей любви к ней, забыл о детях, которых она с такой щедростью дарил ему, не хотел вспоминать, что она султанша, мать

⁶³ Каба тюркче – вулгарный турецкий, простонародный (презрительное название устной народной речи в устах господствующей верхушки).

маленького шах-заде Мустафы, единственного наследника его престола. Он прогнал Махидевран с глаз, как презреннейшую рабыню, он не хотел видеть ее не только в своей ложнице, но и в гареме, и не только в Баб-ус-сааде, но и в Стамбуле: Махидевран была оторвана от сына, вывезена на остров в Мармаре, в старый летний серай, в одиночное заточение, вечную ссылку. А ее покой, самый большой в гареме, о трех окнах, с мраморным фонтаном посередине, весь в дорогих коврах, отдали маленькой Хуррем, не спрашивая ни согласия, ни совета валиде, да еще и передали Хуррем всех бывших служанок Махидевран, словно бы эта роксоланка с ее бесполезным (может, и бесплодным!) телом стала уже султаншей, дала новую поросль всемогущественному роду падишаха!

Валиде рвалась к султану – он ее не принимал. Она мучила своим отчаяньем малоречивого кизляр-агу, черный евнух спокойно бормотал: «Не следует совать палки в колеса судьбы». Хуррем все же оставалась во власти валиде. Ночи принадлежали султану, дни – повелительнице гарема. Она звала Хуррем в свои покои, сидела, кутаясь в дорогие меха, на белых коврах, пробовала выведать, какими чарами завладела маленькая украинка ее сыном, а девчонка беззаботно смеялась: «Какие чары? Кто завладел? Что вы, ваше величество?» Валиде держала ее у себя часами, угощала сладостями, велела приносить книги, чтобы читать вместе с Хуррем, хотела проникнуть если и не в душу ее, то хотя бы на окраины этого чужого тела: что ему по вкусу, что оно любит – тепло, ласковое прикосновение, красивую одежду, боится ли холода, ежится ли от ветра, вздрагивает ли от крика, грохота ворот, рева диких зверей в подземельях серая.

А Хуррем, смеясь, отбиваясь от настырности валиде, выставляла перед собой непробивную завесу беззаботности, отделялась от любопытства Хафсы песнями и песенками, была неуловима, как дух, неприступна, как скалистый остров посреди разбушевавшегося моря. Так, словно бы этой шестнадцатилетней девочке уже давно открылась мудрость человеческой неприступности, благодаря которой каждый может жить на свете, сохраняя собственную личность. Мы существуем до тех пор, пока мы, объединяясь неустанно со всем, что нас окружает, в то же время отделены от него оболочкой своего тела, духом своим и неповторимостью. Мы – скалистые острова посреди безграничного, беспредельного моря жизни, острова, которые за твердыми берегами скрывают нежную, уязвимую зелень, журчанье ручьев, мягкую землю, какую не уступают никому, иначе размоют ее воды, развеют ветры, расхватают алчные стихии. Все живое должно укрываться. Улитка – в раковине, вепрь – под щетиной, за острыми клыками, человек – за силой, за мужеством, за умом, за смехом, за презрением. В этой девочке неудержимый смех скрывал в себе горькое презрение ко всему. Ах, если бы умел это увидеть ее ослепленный сын! Незаметно вздыхая, валиде отпускала Хуррем. «Иди, девочка. Достоинно приготовься к ночи. День принадлежит мужчинам. Женщинам принадлежит ночь. Помни об этом».

Хуррем уходила от валиде, чтобы укрыться в своем роскошном покое и выплакаться до наступления ночи вволю. Плакала, чтобы никто не видел, чтобы глаза не краснели, чтобы даже слезы не катились из глаз. О проклятая земля, где и поплакать по-людски не дадут: вездесущие глаза заметят, высмотрят, донесут султану, и тот прогонит ее от себя, ибо для утех нужна ему смеющаяся, а не заплаканная, тоску и печаль он оставлял за порогом ложницы, а тут хотел лишь радостной беззаботности, того веселья духа, которое даже самых простых людей возносит до уровня бессмертных богов.

А в Хуррем за видимой беззаботностью тоска клокотала чем дальше, тем сильнее, хотя душа, почти было умершая на невольничьих рынках, постепенно пробуждалась, отгоняя от себя призрак смерти, возвращаясь к жизни, к той настоящей и большой жизни, в которой человеку необходимы отчизна, свобода и песня. Утратив свою отчизну, могла ли она заменить ее даже этой неоглядной империей, раскинувшейся на целых три материка? Отобрана у нее свобода – сможет ли вернуть ей этот божий дар всемогущественный султан? Песня оставалась с

нею, в ней было спасение, песня стала ее оружием, орудием избавления, ступенями спасения на той лестнице, что соединяет землю и небо, волю и неволю, бытие и небытие.

Была еще плоть, но о ней Хуррем не думала и не заботилась, кажется, даже не замечала своего тела, его униженности. Потому что чем больше унижалась ее плоть, тем выше порывался и возносился дух. Женщина умеет делиться на дух и плоть – это ее преимущество над мужчиной, надо всем сущим.

Ночи шли за ночами. Гнилой ветер с Дарданелл, с голых берегов Азии сменялся ветром с севера – ветром йылдыз, очищавшим воздух Стамбула, отгонявшим смрад нечистот и гнилой воды у пристаней. Серые гуси кричали в высоких темных небесах, точно неутихающая боль и отчаянье Хуррем, – ей хотелось дня, а должна была жить лишь ночами, надеясь на высвобождение из униженности, из угнетенности и никчемности.

Относилась к людям, которые всю жизнь идут за солнечным лучом, по белому дню и по белому свету, пожалуй, их большинство на земле, но есть и такие, что идут по узкой лунной дорожке, среди мрака, темноты и таинств, зачарованные серебристым блеском, очумевшие от того блеска, в глазах у них тот блеск, а в душе темнота и мрак. Султан относился к таким людям, и она стала его жертвой. Сколько лет в детстве слушала со слезами растроганности на глазах отцову проповедь в церкви Святого Духа, как сладостно плакала когда-то над словами евангелиста Матфея: «А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».

Вот она и полюбила врага своего!

Гнилые ветры дули всю короткую стамбульскую зиму, и отчаянье поднималось в душе от тех ветров столь неоглядное, что захотелось бы даже умереть, если бы не рвалась Хуррем с такой силой к жизни, и уже не к простой жизни, а к наивысшим ее вершинам. Ее тошнило от прокислого духа толстых ковров, кружилась голова от сильных ароматов курильниц и от сухого дыма жаровен. От постоянного напряжения у Хуррем часто пересыхало в горле, она коротко откашливалась, не без удовлетворения отмечая, что каждое ее покашливание почти мучительно отзывается в султана, к нежной заботливости которого всякий раз добавлялась еще и тревога. Так что же? Победа? Что-то давало ей силы идти все дальше и дальше, не останавливаясь, не удовлетворяясь тем, что уже имела, проявляя алчность, но не к обычной тщете, не к драгоценностям, не к зримым доказательствам султановой привязанности к ней, а прежде всего ко всему тому, что обогащало и развивало ее человеческую сущность, ставило ее над тем замкнутым миром, который напоминал клетку для зверей, возмещало хотя бы в какой-то мере утрату самых дорогих ценностей, коих уже не могла вернуть теперь для нее никакая сила. Наверное, некоторые души нуждаются в жесточайших ударах судьбы, чтобы выказать свое величие.

Маленькую Настасю продавали в Кафе на невольничьем рынке нагой. Так она и чувствовала себя после того – лишенной не только одежды, но и всего человеческого. Не везла с собой за море ни дома, ни земли, ни неба, ни трав и цветов, даже Чертову гору рогатинскую не прихватила. Покинутая Богом и людьми – крапива у дороги, чертополох с острыми колючками, хищный зверь с ядовитыми когтями, – очутилась среди таких же, как и она, вырванных из отчизны, оторванных от рода своего, брошенных в клетку, никаких надежд, никаких связей, никакой меры для них, а человек ведь измеряется не только собственной сущностью, но и окружением, всем производным от времени, места, происхождения. От прошлого не осталось даже ее собственного имени. Только в снах являлась перед ней рогатинская гора, отцова церковь, и дом родной за ольшаником, и мамуся на пороге, и золотые облака над нею, и рыдания, рыдания... Суровости и мрачности мира, в который попала, ничем не могла одолеть, кроме притворной (но ведь и естественной для нее!) веселости, которою удобно было прикрывать свою растерянность и смятение. Кто бы поверил, что она спасается смехом и песней, что вырвется из униженности, из рабства, собственно, из небытия? Род людской прекрасен. Она докажет

это даже врагам. Пусть познают это чудо и пусть содрогнутся их сердца от удивления и восхищения ею.

Безмерное горе и безнадежность одних ломают навсегда, для других неожиданно становятся дорогой к вершинам духа. Когда Хуррем убедилась, что люди и Бог оставили ее, что мир бросил ее на произвол судьбы и она предоставлена лишь собственным силам, в ней неожиданно для нее самой открылась такая неукротимая сила духа, такие неведомые ей самой возможности ума, что она даже испугалась. Может, так же пугала она своих гаремных стражей и самое валиде, зато султана удивила и восхитила так, что он не мог уже оторваться от созерцания этой удивительной девушки, в которой вмещалось столько неожиданностей, столько щедрых знаний и дарований, что, казалось бы, их не в состоянии была выдержать человеческая природа!

Те два месяца гнилой стамбульской зимы, два месяца их неразлучности, Хуррем была еще и ученицей султана. С ненастырной настойчивостью Сулейман отучал Хуррем от грубых песенок, бережно вводя ее в храм истинной высокой поэзии, где царил дух утонченности, где от простонародного каба тюркче остался разве лишь вспомогательный глагол, зато господствовали слова персидские и арабские, где целые строфы газелей можно было читать, зная скрытый поэтический ключ, попеременно то по-персидски, то по-арабски, то по-турецки. Он читал ей газели Ахмеда Паши, Исы Неджати, знаменитую «Мюреббу» Исы Месцехи, и она мгновенно схватывала не только суть, но и высокие тонкости поэзии, память у нее была цепкая, как глициния, Хуррем могла повторять целые газели вслед за Сулейманом, а то вдруг неожиданно, через несколько дней, когда он уже и забывал, что читал ей, вспоминала из Ахмеда Паши: «Приди, но не войди в шатер соперника, ибо ты ведь знаешь, что там, где собака, – ангел не пройдет, о друг мой...»

Или же мило переиначивала стихи Джелаледдина Руми: «Если уж и вспоминаю о ком-то, то вспоминаю лишь тебя. Если уж раскрываю уста, то лишь затем, чтобы рассказать о тебе. Если мне хорошо, то причиной этого лишь ты. Если мне захотелось слукавить, то что поделаешь, этому научил меня ты».

Эта маленькая гяурка, упрямо не снимавшая свой золотой крестик с шеи (султану было приятно это упорство), отважилась даже начать богословский спор со своим повелителем.

– Ваше величество услаждает мой слух прекрасной поэзией, – говорила она, – и еще ваше величество рассказывает рабе своей, как великодушны были султаны к поэтам, милуя и щедро осыпая наградами даже самых легкомысленных из них – и за что же? – за слова, только за слова, и более ни за что! А между тем сам пророк ненавидел поэтов, о чем сказано в Коране: «Они извергают подслушанное, но большинство их лжецы. И поэты – за ними следуют заблудшие. Разве ты не видишь, что они по всем долинам бродят и что они говорят то, чего не делают...» Как это согласовать и можно ли вообще согласовать?

– Ох, маленькая гяурка, – снисходительно вздыхал султан, поглаживая ее по щеке, – у тебя не хватило терпения прочесть дальше. А дальше в Книге написано: «...Кроме тех, которые уверовали, и творят добрые дела, и поминают Аллаха много». Еще ты не знаешь хадиса⁶⁴, который передает слова пророка: «Почему бы тем, кто защищает Аллахова посланника с оружием в руках, не защищать его также и своим словом?» Пророк давал повеления своим ансарам⁶⁵ убивать каждого из поэтов, высмеивающих его учение, но милостиво относился к тем, кто прославлял его, и даже к тем, кто писал оскорбительные слова, но затем покаялся. Такова история поэта Каба ибн Зухайра, который заслужил смерть за свое злое стихотворение против пророка и был даже ранен в столкновении с правоверными, но впоследствии свет ислама пролился и на него. Он сочинил большую поэму в честь пророка, явился на утреннюю молитву в мединскую мечеть и там стал читать перед посланником свое произведение, и когда дошел до

⁶⁴ Хадис – пересказы высказываний и деяний Магомета.

⁶⁵ Ансар – сторонник, последователь пророка Магомета.

слов: «посланник – это сверкающий меч из индийской стали, обнаженный самим Аллахом», – растроганный Магомет накинул на плечи поэта собственный плащ, после чего эта поэма так и называется «Аль-Бурда» («Плащ»). И в этой поэме есть слова, написанные словно бы о тебе, Хуррем. Вот они: «Когда она улыбается, показываются ее влажные от слюны передние зубки, точно они – источник сладкого вина, к которому приятно припасть дважды, вина, смешанного с холодной чистой водой, взятой из змеившегося в долине потока, над которым летят северные ветры».

Я скажу тебе: «О моя госпожа, ты измучила меня!»

Она ответила: «О боже! Мучь тогда и ты меня!»

Через два месяца Хуррем несмело сказала султану, что она ждет ребенка. Растроганность его была столь безмерна, что он неожиданно даже для самого себя стал читать ей в полузабытых стихи древних суфийских поэтов Джелаледдина Руми и Юнуса Эмре, и вся ночь у них прошла в столах блаженства, в радости, в приглушенном звучании таинственных слов о слиянии человеческих душ друг с другом и с высшей сущностью.

В счастливый миг мы сидели с тобой – ты и я,
Две формы и два лица – с душой одной – ты и я.
Дерев полутень и пение птиц дарили бессмертием нас,
В ту пору, как в сад мы спустились немой – ты и я.
Восходят на небе звезды, чтоб нас озирать,
Появимся мы им прекрасною луной – ты и я.
Нас двух уже нет, в экстазе в тот миг мы слились,
Толпе суеверной и злой ненавистны – ты и я.

В эту ночь султан хотел быть особенно великодушным. Может, сожалел, что поздняя ночь и не может он немедленно проявить все величие своего великодушия к Хуррем и вынужден ждать утра, чтобы сообщить валиде и кизляр-аге, сообщить всему гарему, всему Стамбулу и всему миру, как дорога ему эта маленькая девочка, от которой он теперь ждет сына, наследника, и которую он сделает султаншей, царицей своей души и царицей всех душ его империи, но до утра было еще далеко, до сына – еще дальше, поэтому он должен был довольствоваться одними словами, и он щедро лил их из неисчерпаемых источников своей памяти, с которой пока еще не могла состязаться даже цепкая, как глициния, память Хуррем: «Все равно приходи, все равно будь той, какая ты есть, если хочешь – будь неверной, огнепоклонницей, идолопоклонницей, если хочешь – будь хоть тысячу раз раскаявшейся, если хочешь – будь сто раз нарушительницей раскаяния, эти врата не врата безнадежности, какая ты есть, такой и приходи».

И уже когда Хуррем уснула, он бормотал над спящей, точно колыбельную, из Юнуса Эмре, слишком простого для султанов поэта, но такого уместного для данного мгновения:

Станем мы оба идущими по одному пути,
Приди, о сердце, пойдем к другу.
Станем мы оба людьми одной судьбы,
Приди, о сердце, пойдем к другу.
Не разлучимся мы с тобой,
Приди, о сердце, пойдем к другу.
Пока не пришла весть о смерти,
Пока не схватила смерть за ворот,

Пока не напал на нас Азраил,
Приди, о сердце, пойдем к другу.

Спящая Хуррем казалась ему бессмертной. Несмело прикасался к ее шелковистым перьям и ощущал ее бессмертие. Она спала, точно корабль на тихих водах, полный жизни, огня и скрытого движения. Словно змея, она никогда не потела, сухой огонь бил из нее даже спящей, обжигал Сулеймана, обращал в уголь, в пепел. Наконец-то нашел он женщину, которая убедила его, что существует на свете нечто более важное, более ценное, нечто выше его самого во всей его недосыгаемости. Что же? Она сама. Только она. Была для него утолением жажды, забвением и воскрешением, давала высвобождение от всего, похожее на сладкую смерть. Тогда он забывал даже о себе самом, освобождался от себя, знал лишь одно: без этой женщины не сможет жить, без любви к ней, без ее любви мир утратит всю свою прелесть, все краски свои, самое же страшное – потеряет свое грядущее. Ибо любовь, как искусство, охватывает и то, что реально существует, и то, что должно когда-то наступить.

Кому об этом расскажешь? Хуррем знала и без того, а больше никто не поймет, не с кем ему поделиться. Разве что с Ибрагимом, с которым давно уже не уединялся, увлекшись ночами с Хуррем, а его оставив для утех с молодой женой.

Словно бы затем, чтобы дать Хуррем полностью прочувствовать счастье нести в себе султанское семя, Сулейман приказал, чтобы ее никто не трогал в гареме, даровал ей отдых и одиночество на несколько дней и ночей, сам же обратился с усердием, могущим показаться чрезмерным, к делам государственным, затем, возобновив давний свой обычай, заперся в покоях Фатиха с любимцем своим Ибрагимом. У них не часто были такие затяжные разлуки, новая встреча всякий раз щедро орошалась вином, выпив же первые чаши, они разыгрывали на два голоса иляхи дервишей ордена руфай. Так было и на этот раз. Сулейман, лукаво поглядывая на Ибрагима из-за края золотой чаши, начал то, что в их игре принадлежало ему:

– «Упал мой взгляд, полюбил красавчика араба». Ох! Ох!

– «Хоть и араб он, но очень изысканный», – мгновенно ответил Ибрагим.

Сулейман отставил чашу, прижал руку к сердцу:

– Я сказал: «Мальчик Шамуна, ты не из Дамаска?» Ох! Ох!

Ибрагим, улыбаясь, медленно покачал головой:

– «Нет! Нет! Родом я не из Дамаска, а из Халеба». Ох! Ох!

Один спрашивает, другой отвечает, обязанности распределены давно и твердо, распределение это еще больше укрепилось после вступления Сулеймана на престол, в сущности, Ибрагим своим положением Сулейманова любимца и наперсника обязан был тому обстоятельству, что никогда не давал воли своей врожденной наглости, умел сдерживаться, к тому же делал это незаметно, всегда уступая своему повелителю первое место и всячески склонял того к мысли, будто они во всем равны и никто из них в этих ночных беседах не имеет никаких преимуществ.

После песенки дервишей можно было бы почитать что-нибудь из скабрезной поэмы Джафара Челеби или из хмельных стихов Ильаса Ревани, но начинать должен был султан, а если уж не начинать, то хотя бы намеком показать Ибрагиму, чего он от него ждет.

– Ты забыл обо мне, – укоризненно произнес Сулейман.

– Я скорее забыл бы собственное имя, ваше величество, – всплеснул руками Ибрагим, искренне обиженный таким упреком.

– Разве может сравниться нудный султан со сладкой Кисайей? – прищурил глаз Сулейман, склоняя Ибрагима к простецкой игривости, в которой находил отдых от постоянного напряжения власти.

Ибрагим одним из первых при дворе узнал о неожиданном увлечении султана рабыней-роксоланкой и тревожился по поводу этого увлечения, может, даже больше, чем валиде, ибо это могло коснуться не только его дальнейшей судьбы, но и самой его жизни. Знает ли уже

султан о том, что роксоланка подарена для его гарема именно им, Ибрагимом? А если еще не знает, то когда, и от кого, и как узнает? Ладно, если увлечение пройдет так же необъяснимо, как и началось, и Сулейман забудет о маленькой рабыне и не станет доискиваться, откуда она взялась в Баб-ус-сааде. А если случится непредвиденное? Если этот непостижимый человек приблизит Хуррем к себе надолго, сделает ее кадуной? До сих пор Ибрагим был в руках валиде, теперь зависел и от Хуррем. Вдруг она вспомнит, как была куплена на Бедестане, как привел ее Ибрагим в свою ложницу, как, уже отдавая в султанский гарем, пожелал увидеть ее молодое девственное тело? Как немилосердно ревнив Сулейман во всем, что касается его женщин, Ибрагим знал еще со времен Манисы. Однажды, увидев, как молодой мерин пытается залезть на кобылу, шах-заде с удивлением спросил у конюха: это случайно или у мерина в самом деле может что-то быть с кобылой.

Грубый конюх только захохотал на такую наивность принца.

– Бывает, мерин справляется лучше жеребца, бывает, и жеребец не способен в этом деле заменить мерина.

– Но ведь он лишен пола? – не отставал шах-заде.

– Но не лишен «снасти»!

– А как же евнухи? – спросил тогда Сулейман Ибрагима, словно бы тот должен был разбираться в таких вещах лучше урожденного мусульманина.

Ибрагим пожал плечами. Но у Сулеймана голова была устроена так, что если уж в нее что-нибудь западало, то крепко и надолго. Он стал расспрашивать своего воспитателя Касим-пашу, докапываться, как кастрировали рабов в Мысре, откуда происходил этот нечеловеческий обычай при дворах персидских шахов, сельджукских султанов и его предшественников из рода Османов, а потом велел провести осмотр всех евнухов и безжалостно лишить их всего мужского, чтобы не осталось и следа. Когда Касим-паша осторожно намекнул, что не все выдержат столь тяжелое испытание, особенно евнухи пожилые, то есть самые преданные и опытные, испытанные в службе, Сулейман только pokrивился:

– Тем хуже для них.

То же проделал и в Стамбуле, переполовинив евнухов и в Баб-ус-сааде и при дворе. Не грозили теперь султанским женам ничем, даже малую нужду не имели чем справлять и вынуждены были носить в складках своих тюрбанов серебряные трубочки для этой цели.

Так что легко было представить, что ждало бы Ибрагима, если бы султан узнал о происхождении своей возлюбленной и о ночах, которые она провела в его доме на Ат-Мейдане. Спасение было разве в том, что рабыня надоест султану прежде, чем он станет интересоваться, как она к нему попала, или же в том – и на это надо было надеяться более всего – что Ибрагима не выдадут ни валиде, ни сама Хуррем: одна – чтобы не быть в соучастии с греком, другая – чтобы навсегда остаться перед султаном вне всяких подозрений. Но это были все же одни только надежды, а как будет на самом деле, никто не мог знать наперед, даже сам Ибрагим, несмотря на его проницательность и остроту ума. Утешало то, что султан не изменил пока своего отношения к любимцу, значит, еще не знал ничего. Иначе бы не простил. И если не повелел бы немедленно уничтожить неверного друга, то пред царственные очи свои не пустил бы никогда и ни за что – это уж наверное.

О молодой жене Ибрагима заговорил султан тоже, видимо, неспроста.

Может, увлеченность его маленькой Хуррем была такой сильной, что не терпелось похвалиться ее красотой и прелестями, но положение султана не позволяло сделать этого даже перед Ибрагимом, и Сулейман призывал к откровенности своего любимца: пусть тоже хвалит свою Кисайю, и в тех восхвалениях отразится, как в зеркале, увлеченность султана. Для этого достаточно было бы Ибрагиму прочесть строки из Ахмеда Паши: «Локон, кокетничающий на твоей щеке, о друг мой, прекрасный павлин, распускающий крылья и перо, о друг мой...» Но в то же время заставлял султана сравнивать свою любимую с любимой его подданного (пусть и

приближенного, пусть и любимца!) – не будет ли это оскорбительным для его высокого достоинства, особенно же принимая во внимание тяжелый Сулейманов характер? Султан не нуждается в свидетелях своих любовных утех, ему не нужны поверенные в его мужской страсти, женщина, которую он полюбил даже на несколько дней, для него выше всех женщин на свете, так что если уж говорить при нем о них, то разве что пренебрежительно или насмешливо.

Все эти мысли, опасения и сомнения пронеслись в голове хитрого грека так быстро, что он ответил на укор Сулеймана почти без задержки, почти мгновенно, и ответил именно так, как хотелось услышать Сулейману.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.